

Станислав ФЕДОТОВ



ПОД ЗНАКОМ АМУРА

ЗОВ АМУРА

Новый исторический роман

Станислав Федотов

Под знаком Амура. Зов Амура

«Издательство АСТ»

2016

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

Федотов С. П.

Под знаком Амура. Зов Амура / С. П. Федотов — «Издательство АСТ», 2016 — (Новый исторический роман)

ISBN 978-5-17-150332-1

В восемнадцать лет прапорщик, в тридцать восемь — генерал-губернатор Восточной Сибири, хозяин половины России, от Енисея до Тихого океана. С юности жизненным девизом Н. Н. Муравьева стали строки из стихотворения Г. Р. Державина «Вельможа»: «Вся мысль его, слова, деянья должны быть: польза, слава, честь». И себя он считал, по словам того же Державина, «орудьем власти». Генерал, не на паркете заслуживший свое звание и ордена, Муравьев и в гражданской жизни начал открытую войну с нечистыми на руку чиновниками, взяточниками и казнокрадами, вороватыми купцами и золотопромышленниками, что стоило ему не только доносов в столицу, но и прямых покушений на жизнь. В то же время он всеми силами стремится облегчить жизнь декабристов, способствует капитану Невельскому в исследовании устья Амура и борется с происками английских и французских шпионов. Он не подозревает, что к этой борьбе примешана жгучая личная ненависть к нему двух смертельных его врагов — Анри, некогда возлюбленного его жены Катрин, и Вогула, оскорбленного им бывшего легионера. Но рядом с генералом надежные соратники из разных сословий, а главное, его ведет по жизни и помогает в делах любовь.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

ISBN 978-5-17-150332-1

© Федотов С. П., 2016

© Издательство АСТ, 2016

Содержание

Книга первая	7
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	18
Глава 4	26
Глава 5	34
Глава 6	40
Глава 7	46
Глава 8	50
Глава 9	58
Глава 10	62
Глава 11	66
Глава 12	76
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Станислав Федотов

Под знаком Амура. Зов Амура

© Станислав Федотов, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

Моей Берегине

Книга первая

Орудье власти

Глава 1

1

Собачья упряжка мчалась по якутской тайге. Полозья больших нарт скользили по плотному снегу легко, несмотря на немалый груз – несколько принаитовленных веревками тюков и три человека в шубах. Впереди сидел каюр с длинным хореем, за ним пассажиры – спина к спине, ноги в теплых унтах поставлены на специальные ремни, натянутые между копыльями саней. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев с супругой Екатериной Николаевной возвращался после второго сплава по Амуру. Свой штаб и других подчиненных он отправил вперед, сам шел последней упряжкой. Из-за нехватки каюров за хорей взялся его личный порученец штабс-капитан Иван Вагранов: он научился управляться с собаками, пока ждали в Аяне хорошего снега.

Путь их был долгий, кружной: от Аяна через горы до речки Ботомги, одного из притоков Маи, по речному льду до станка Усть-Мая, потом по Охотскому тракту до областного городка Якутска. А уж к стольному граду Восточной Сибири Иркутску через горы, доли и речные поймы непрерывной лентой бежал от Якутска тракт почтовый с ямскими станциями и сменными лошадьми. Правда, тракт этот исправно служил только зимой, по местным меркам с ноября по апрель или май – от ледостава до ледохода, но и за это надо Бога благодарить, поскольку в теплое время года добираться куда-либо можно было только по большой воде.

Пятьсот верст после Усть-Маи остались позади, от последней станции до Якутска было уже рукой подать – часов пять хорошего собачьего ходу. В начале ноября здесь прошли большие снегопады, Охотский тракт местами был уже неплохо наезжен, и упряжка – двенадцать крепких сибирских лаек во главе с широкогрудым, мощным вожакom – без особых усилий брала пологие подъемы на увалы, а на спусках Вагранов притормаживал, бороздя по снегу толстым концом хорей.

Муравьевы молчали – на морозном ветерке не очень разговоришься, – прятали лица в глубине меховых капюшонов, наблюдая, как проносятся мимо деревья, усыпанные снегом. Екатерине Николаевне, сидевшей слева, иногда ударяло в глаза мелькавшее сквозь ветви невысокое послеполуденное солнце, и она каждый раз зажимивалась, чтобы закрытыми глазами увидеть обратную картинку – белые ели в сером снегу и черный кружок светила. Это ее забавляло и почему-то возвращало в далекое детство, прошедшее в городке По, в предгорьях французских Пиренеев...

Внезапно лес кончился, впереди до самого края белесого неба раскинулась снежная равнина, голубовато-серебристая в прозрачной тени увалов и розовато-оранжевая под рассыпчатыми лучами вечернего солнца. Вдалеке, на стыке с небом, она поднималась холмами, очерченными темно-синей линией тайги. В одном месте холмы лохматились дымами: там было жилье – областной городок Якутск.

Как это часто бывает в дороге, на крутом повороте или при резкой смене пейзажа путешественник, повинувшись подсознательному порыву, оглядывается на пройденный путь, вот и Муравьев непроизвольно глянул на оставшийся позади лес. Глянул – и похолодел: нарти настигала большая стая волков. Впереди размашистым наметом шел вожак – огромный зверь с

умными сосредоточенными глазами. Остальные следовали за ним тесной группой, не меньше десятка голов – впрочем, считать врагов Муравьеву было некогда.

– Волки! Погоняй! – крикнул он в спину Вагранову.

Тот оглянувшись, удивленно крякнул:

– Везет нам нынче на погони! – и спокойно вернулся к своим каюрским обязанностям: дотянулся и гибким концом хорея легонько шлепнул жоака упряжки по спине: прибавь, мол, ходу. Однако собак подгонять не стоило: они раньше людей учуяли опасность и сами рвались из построения.

Но спокоен Вагранов был только внешне, не хотел перед командиром проявлять хоть малейшую слабость. А тем более перед Екатериной Николаевной. Внутри же, что называется, поджилки затряслись. Не за себя: двадцать пять лет военной службы не раз сталкивали его с «безносой», – испугался, что может не уберечь доверенные ему жизни, которые считал несравненно более значимыми, чем собственная. Он знал поговорку «любой денщик важнее генерала», в том смысле, что от денщика зависит, с какой ноги генерал встанет и как после будет командовать, но в таком, как у них, положении не только денщик, любой солдат и офицер обязан грудью закрыть своего командира. А он, Вагранов, даже свой штуцер упрятал в тюк, по глупости полагая, что им ничто больше не угрожает. Как вот его теперь достать?!

2

В одном штабс-капитан был все же прав: на погони им что-то сильно везло.

Пароход «Шилка», на котором штаб Муравьева должен был вернуться в Усть-Стрелку, к месту слияния Шилки и Аргуни, не пришел в назначенный срок, а второй, маленький пароходик «Надежда», Николай Николаевич отдал графу Путятину, завершившему экспедицию на фрегате «Паллада» и после удачного подписания первого русско-японского договора торопившемуся в Петербург. Время для возвращения по воде было упущено – оставался только зимний путь по Охотскому тракту.

Муравьев зафрахтовал американский барк «Пальметто», доставивший в устье Амура необходимые для зимовки русских продукты. На барке на семь человек экипажа была всего одна каюта; капитан как истый джентльмен предоставил ее супругам Муравьевым, остальные члены штаба и нижние чины, всего около тридцати человек, разместились на простой соломе в освобожденном от груза трюме.

На выходе в Сахалинский залив лавировал французский фрегат из англо-французской эскадры, не оставляющей надежды разгромить русских на Камчатке и Амуре. Заметив барк, он тут же погнался за ним. Но судьба благоволила Муравьеву: наползли низкие и густые туманы, которые часто бывают на Охоте в это время года, и барк укрылся в их белых облаках.

Однако фрегат не прекратил погоню. Это обнаружилось, когда налетел шторм, и шквальный ветер разогнал туман: «француз» оказался на хвосте «американца». Он подавал сигналы, требуя остановиться, и капитан «Пальметто» уже склонялся к тому, чтобы подчиниться, но Муравьев оставался непреклонным: сдаться – позорно, лучше смерть! К счастью, ветер переменялся почти на противоположный: чтобы двигаться вперед, обоим кораблям пришлось часто и круто переключать галсы, и в этих маневрах маленький барк оказался куда проворней большого фрегата.

Еще через десять дней «Пальметто» высадил пассажиров в Аянской бухте и тут же ушел, расталкивая обитым железом форштевнем набившийся в бухту мелкий лед. А навстречу ему шел все тот же фрегат...

3

– Николя, где мой «лефосе»? – Спокойный голос жены удивил и подстегнул Муравьева. Он торопливо вытащил из саквояжа два шестизарядных револьвера, купленных почти десять лет назад в Париже. Тогда они казались забавной и немного нелепой игрушкой по сравнению с привычными боевыми пистолетами, а теперь, пожалуй, стали единственной надеждой на спасение. Как хорошо, что он научил жену стрелять в цель, и еще лучше, что, повинувшись интуиции, оставил оружие в саквояже, а не упаковал в тюки.

Екатерина Николаевна высвободила руку из песчовой муфты, и муж вложил в ее маленькую ладонь холодную рифленую рукоятку, заодно пожав тонкие пальчики:

– Стреляй только наверняка. Перезарядить не успеем.

А волки уже совсем близко – рукой подать. Вожак коротко рыкнул, и четыре зверя – по два с каждой стороны – начали обходить нарты, собираясь перехватить упряжку. Их темно-серая шерсть, почти черная на загривках и спинах, взблескивала искрами под лучами солнца.

В двух шагах от себя Муравьева увидела оскаленную пасть, обвешанную пеной. Выстрел, другой, и зверь кубарем покатился в сугроб. Но его место занял второй, норовя ухватить женщину за унты. Она послала ему пулю точно между глаз. За спиной тоже прогремели выстрелы. Первая атака отбита, однако волков это не остановило.

Воспользовавшись передышкой, Муравьев вытащил из саквояжа кинжал, разрезал найтовы и начал сбрасывать на дорогу тюки, надеясь облегчить ход саней и отвлечь внимание преследователей. Но волки остановились ненадолго лишь у первого тюка – просто обнюхать. По приказу вожака пара зверей прибавила ходу и снова настигла нарты. Однако меткие выстрелы уложили их в снег.

– У меня осталось три заряда, – сказала Екатерина Николаевна. Глаза ее были испуганы, но слова спокойны.

– И у меня четыре, – откликнулся муж.

Вожак совсем близко, однако два выстрела Муравьева, сделанные, казалось бы, наверняка, почему-то не достигли цели. Муравьев встретился взглядом с жуткими желтыми глазами и явственно увидел в них дьявольскую усмешку. Легкими кивками головы вожак снова бросил в атаку четырех своих подданных, но уже не парами: один волк пошел со стороны Муравьева, три – с другой.

Муравьев уложил своего одной пулей. За спиной у него сухо треснули выстрелы – три подряд, а вслед за тем вскрик жены заставил его резко обернуться. Он мельком отметил два волчьих трупа, оставшихся позади. Третий зверь пытался схватить Екатерину Николаевну за унты. Откинувшись назад и цепляясь руками за нарты, она отчаянно отбивалась обеими ногами. Муравьев извернулся, обхватив жену свободной рукой, и свою последнюю пулю послал зверю прямо в ухо.

Остались пустые револьверы (Муравьев по своей извечной привычке к порядку тут же сунул их в саквояж) и два волка, один из которых – вожак. И тот, словно оценив беззащитность людей, резво начал настигать нарты. Второй волк шел за ним.

Прикрывая жену спиной, Муравьев достал из-за отворота шубы кинжал: обрезав найтовы, он машинально сунул его за пазуху. Теперь этот клинок, несколько лет назад в Петербурге едва не отправивший его на тот свет, оказался последним оружием защиты.

Удивившись наступившему затишью, Вагранов обернулся, но сделал это очень неловко: хорей тонким концом воткнулся в сугроб на обочине, сломался и в одно мгновение, как поршень, столкнул всех людей на дорогу. А внезапно облегчившаяся упряжка унеслась вдаль.

Каким-то чудом Муравьев не уронил кинжал и не выпустил жену. Он вскочил, заслоняя ее собой, и сам успел прикрыться безоружной рукой от налетающей клыкастой пасти. Видно,

вожак не сумел правильно оценить обстановку – у него просто не было времени, – и это стоило ему жизни. Зубы зверя вцепились в локоть человека, но в тот же миг все его мощное, покрытое гладкой шерстью тело содрогнулось от пронзительной боли: сталь кинжала врезалась ему в правый бок – раз и еще раз!.. – и на третьем ударе достала до сердца. Желтые глаза вспыхнули яростью и стали быстро тускнеть, но пасть не желала размыкать зубы. Труп повис на руке, и Муравьев поволок его по снегу, спеша на помощь Вагранову, который обломком хорея отбивался от последнего волка.

Зверь, увидев своего предводителя мертвым, замер и попятился. Вагранов воспользовался его замешательством, ударил обломком, как дубиной, поперек спины и сломал волчий хребет. Лапы зверя подкосились, с почти человеческим стоном он упал на брюхо и уронил голову в снег.

Вагранов оглянулся на генерала и рванулся к нему:

– Николай Николаевич...

– Отставить, штабс-капитан! Помоги лучше Екатерине Николаевне, – отрывисто бросил генерал, опустившись на колено и пытаясь разжать кинжалом, казалось, намертво сцепленные зубы вожака.

Вагранов отбросил обломок и поспешил к Муравьевой, которая, пошатываясь, шла к ним по кровавому следу-волоку, оставленному убитым зверем.

Глава 2

1

Побагровевшее солнце садилось в сизую тучу. С другой стороны горизонта над черной полосой тайги поднималась дымчато-голубая полная луна. По дороге мела поземка, наискось расчерчивая наезженные нартами колеи. Начиналась метель.

По дороге шли, вернее ковыляли, спотыкаясь на каждом шагу, три человека: двое мужчин вели под руки женщину. Слабо накатанные колеи и рыхлая снежная полоса между ними не располагали к пешему хождению, тем более по трое в ряд: ноги Екатерины Николаевны, шедшей между мужем и Ваграновым, часто не находили опоры, она проваливалась и невольно повисала у них на руках.

Муравьев какое-то время пытался опираться на обломок хорея, но скоро отказался от этой затеи: раненая в бою под дагестанским аулом Ахульго правая рука была прокушена волчьим вожаком, да еще и перенапряглась, поэтому почти не слушалась.левой, здоровой, он держал за талию вконец обессилевшую жену, подставляя ее локтю свое плечо. В странно пустой голове металась только одна мысль: «Не останавливаться! Идти... идти... идти...»

Обломок хорея генерал все же не бросил – мало ли что еще может приключиться, – а идти становилось все труднее. К ветру присоединился снегопад, и метель завела свою нешуточную, может быть даже смертельную игру. Солнце скрылось, и сизые сумерки, сплетаясь со снеговым, все быстрее заполняли окружающее пространство, превращая его в месиво, непрерывно шевелящееся под рассеянным светом луны.

Муравьев споткнулся, упал, Екатерина Николаевна, потеряв опору справа, потянула Вагранова, но он, сделав по инерции еще два шага, устоял. Обхватив Муравьеву двумя руками, оглянулся на генерала:

– Николай Николаевич, тебе помочь?

– Идти!.. Только идти!.. – прохрипел Муравьев, поднимаясь с четверенек на колени, а затем – с опорой на обломок хорея – на ноги. – Не останавливаться!..

Вагранов взвалил безвольное тело женщины на плечо и побрел дальше. Муравьев, ковыляя, догнал его, пошел следом по той же колее, стараясь хотя бы символически поддержать драгоценный для него живой груз.

Но судьба в этот день выдала им еще не все испытания. Через несколько шагов правая нога штабс-капитана провалилась в заметенную снегом яму, подвернулась, и он, охнув, рухнул набок. Екатерина Николаевна перелетела через его голову в придорожный сугроб и осталась там лежать.

Муравьев, напрягая последние силы, бросился к жене, упал возле нее на колени, приподнял головку в меховом капюшоне, отер снег с лица:

– Катенька, милая, ты жива?!

Екатерина Николаевна дважды судорожно вздохнула, открыла глаза:

– Жива... Как Иван Васильевич?

Генерал оглянулся на своего верного порученца – тот, кряхтя, выбирался из сугроба, – спросил отрывисто:

– Идти сможешь, Иван?

Вагранов оперся на правую ногу, попытался привстать и тут же со стоном опрокинулся на спину.

– Все! – сказал генерал. – Приехали. Одна надежда – на Господа нашего...

Он воткнул в сугроб обломок хорея и сел рядом с женой.

– Что будем делать, Николая? – спросила Екатерина Николаевна.

Его потрясло спокойствие, с каким жена произнесла вопрос, на который в этот момент ни у кого не было вразумительного ответа – настолько безысходным оказалось их состояние. Она же все прекрасно понимает, его несравненная Катрин, хрупкая, как китайская нефритовая статуэтка, и в то же время сильная, необыкновенно выносливая, сопровождавшая его во всех поездках по необъятному генерал-губернаторству... Почти во всех, поправился он, не терпевший неточности: ее не было с ним в ознакомительном вояже по Забайкалью, и в первом сплаве по Амуру Катрин не участвовала, но на то были непреодолимые причины: неудачные беременности. Оба раза бесконечная тошнота, изнуряющая рвота и – выкидыши. Как она, бедняжка, только выдержала! Но после второго сказала спокойно и категорично: «Бог против того, чтобы у меня был ребенок, и больше нечего пытаться». Ни утешения, ни увещания мужа не возымели нужного действия: Катрин словно заледенела душой и понемногу оттаяла лишь во время нынешнего сплава. Он тяжело вздохнул, пытаясь отогнать печальные воспоминания, и она услышала этот вздох:

– Что, совсем плохо?

Лицо Муравьева сморщилось, как от боли. Привыкший повелевать и командовать, не раз показывавший свою смелость, он вдруг испугался, что сейчас придется признать свое бессилие. А ведь он уже фактически признал, когда позволил вырваться простым и естественным в такой ситуации словам про Господа. Но согласиться с этим было выше его сил.

– Нас найдут, – твердо сказал он. – Нас уже ищут. Нам лишь надо не замерзнуть.

Легко сказать. У него вдруг заныла спина, надорванная во время верпования барка «Пальметто». Муравьев усмехнулся, вспомнив это новое для себя слово «верповаться». Верп – так называется небольшой якорь, который заводится вперед на шлюпке, а корабль подтягивается на нем с помощью кабестана, или шпиля. Кстати, тоже новые для него слова. Это делается, когда надо сняться с мели или в полный штиль на мелководье. «Пальметто» попал в штиль, и Муравьев приказал верповаться. Матросов было всего пятеро, и пассажиры, штабные и чиновники – все, кроме Катрин – занялись этой нудной и тяжелой работой. И князя Оболенский и Енгальчев, и офицеры Ушаков и Медведев, и совсем молодые юнкер Раевский и Мишель Волконский, и другие чиновники... И нижние чины, разумеется. И сам генерал-губернатор половины России – Восточной империи, как в узком кругу называли край, раскинувшийся от Енисея до Берингова моря, сам генерал-лейтенант Муравьев, кавалер многих орденов, наравне с другими крутил за вымбовки скрипучий неповоротливый шпиль, выбирая мокрый якорный канат...

Он откинулся на спину и стал смотреть на белесое пятно в бегущих облаках. «Мчатся тучи, выются тучи, невидимкою луна...» – легкой порошей прошуршало в голове.

Плохо, что «мутно небо, ночь мутна», в такую погоду можно рядом пройти и не заметить занесенные снегом неподвижные тела. В том, что очень скоро они будут неподвижны, Муравьев не сомневался: слишком много сил отняла схватка с волками и последующее ковыляние – иначе не скажешь, именно ковыляние – по рыхлому снегу. Ах, если бы вдруг метель унялась, и луна засияла во всей полноте! Господи, ты же всемогущ, не допусти несправедливости...

И, словно по мановению услышавшего мольбу Всевышнего, облачная пелена разорвалась, обнажая пышнотелую ночную красавицу, которая вдруг вспыхнула ярким желтым огнем, превращаясь в солнечный диск, сияющий в окне гостиной в тульском доме Муравьевых.

2

...Генерал-майор, за неширокими плечами которого были три военные кампании и многолетнее командование отделением Черноморской линии, заполненное схватками с немирными кавказцами, а в перерывах между ними суровой жизнью в разбросанных по болотистому

побережью крепостцах, этот крутой нравом, порою своей вспыльчивостью наводящий ужас на подчиненных офицеров мрачноватый человек в присутствии жены всегда чувствовал себя глупым романтическим мальчишкой, до восторженного холода в груди влюбленным в ее каждую черточку, каждый жест, каждый взгляд... Он постоянно ловил себя на этом, иногда снисходительно посмеиваясь, иногда беспощадно издеваясь над собой, но ничего поделать не мог. Да, по правде говоря, и не хотел: слишком дорога она ему была, юная Катрин де Ришмон, – бывшая Катрин де Ришмон, поправил он себя, – а с нынешнего, 1847 года, января Екатерина Николаевна Муравьева, супруга, ради него, небогатого русского дворянина, без колебаний сменившая католическую веру на православную, оставив благословенную Францию и родителей, со слезами провожавших единственную дочь в далекую холодную Россию.

Вот и сейчас его умиляла утренняя идиллия: Катрин играет на фортепьяно романс «Я помню чудное мгновенье», а он стоит рядом, опершись локтем о верхнюю крышку инструмента, напевает слова. Его не смущает, что у него нет никакого голоса, что иногда он фальшивит, вызывая озорную улыбку на прелестных губках жены. Ему радостно вдыхать легкий аромат ее каштановых волос, собранных на затылке в небрежный узел, любоваться нежным одухотворенным лицом и высокой грудью, прикрытой кружевами шелкового пеньюара... Он непроизвольно зажмурился: все тело пронзило током от нестерпимого желания зарыться лицом в эти кружева и целовать, и... Все-все-все, остановил он греховные мысли и краем глаза в стоящем в углу венецианском зеркале увидел себя – невысокого, с румяным лицом и курчавыми рыжеватыми волосами, в николаевском темно-зеленом мундире с генеральскими эполетами, – готового к службе тульского губернатора. Он вздохнул: идиллия кончилась.

Раздался осторожный стук в дверь, и Катрин на полутакте остановила игру, взглянула вопросительно на мужа.

– Это, наверное, Вагранов, – сказал по-французски Николай Николаевич. – Прости, дорогая, я должен идти.

Катрин улыбнулась, протянула руку, он склонился для поцелуя над ее тонкими пальчиками, но она вдруг обняла его голову другой рукой и прижала лицом к кружевам, именно так, как ему хотелось. Задохнувшись от мгновенного восторга, он приник к ним губами, пытаясь добраться до кожи, но Катрин засмеялась, поцеловала в макушку и легонько оттолкнула:

– Идите, мой друг, идите. Вас ждет Иван.

Катрин еще плохо говорила по-русски, мало знала слов, поэтому наедине с мужем они общались на французском, но в присутствии посторонних, не понимавших иностранной речи – да того же Ивана Вагранова, личного порученца генерала, – считала неприличным изъясняться не на русском, поэтому больше молчала и слушала. И муж никак не мог заставить ее называть его на «ты» даже наедине. Да, разумеется, европейское аристократическое воспитание, но Муравьев чувствовал, что между ними иногда повисает что-то вроде прозрачного занавеса, не позволяющего их душам слиться воедино. Нет, ночами все было прекрасно, изумительно по раскрепощенности, взаимной бесконечной нежности – ощущение занавеса возникало днем, чаще всего во время самого пустяшного разговора.

Он вообще до сих пор с трудом представлял, как это могло случиться – невероятное по стечению обстоятельств знакомство с Катрин позапрошлым летом, путешествие с ней в Париж, а затем к французским Пиренеям, в крохотный «родовой замок» де Ришмон – утопающий в зелени обыкновенный двухэтажный дом, пристроенный к старинному, времен альбигойцев, круглому донжону, оставшемуся от настоящего замка.

3

В Ахене, на водах, их, русских, было всего трое: генерал-майор Муравьев, поручик Голицын и рязанский помещик Дурнов. Генерал и поручик лечили ранения, полученные на Кавказе

в разное время и в разных местах, однако похожие до странности. У поручика пуля повредила кости левого предплечья, у генерала (правда, тогда Муравьев был всего лишь подполковником) – правого. Наверное, причина похожести крылась в том, что обоих ранило во время атаки, когда всякий уважающий себя русский офицер идет впереди подчиненных, указывая приподнятой и вытянутой вперед саблей направление удара. Не случайно же пули входили у локтя и выходили у плеча, а Голицын был как раз левша и саблю, естественно, держал в левой руке. Что же касается поврежденных пулями костей, то тут уж кому как повезло. Голицыну приходилось теперь учиться все делать только правой рукой, поскольку левая отказывалась слушаться, а у Муравьева была перебита локтевая кость и повреждены сухожилия, сгибающие пальцы. Кость, разумеется, срослась, рана затянулась розовой гладкой кожей, а пальцы... пальцы надо было каждый день разминать, массировать и заставлять сгибаться. Кое-что уже получалось, но тем не менее он учился писать левой, и довольно успешно.

Как бы там ни было, но похожесть ран быстро сблизила военных, несмотря на разницу в чине и возрасте – генерал заканчивал год тридцать шестой, а поручик только-только начал двадцать третий, – и они решили поселиться вместе. Это было дешевле в два раза, а за границей, как известно, каждая копейка на счету. Квартира состояла из трех комнат и стоила в сутки семь франков, или без четверти два рубля серебром. Да за каждый сеанс минерального душа приходилось отдавать три франка – дорого, но что поделаешь: Муравьеву надо было избавляться от последствий лихорадки, которую юный тогда подпоручик «заработал» в Варне, во время Турецкой кампании 1831 года, и которая вот уже пятнадцатый год проявлялась в перидической слабости и стесненности в груди.

Из тех же соображений экономии к ним напросился и Дурнов, двадцатипятилетний рыжекудрый крепыш. Офицеры хотели было отказать штафирке, но, увидев умоляющие голубые глаза при открытой белозубой улыбке на широком добродушном лице, согласились и ни разу не пожалели об этом. Дурнов оказался компанейским человеком, умеющим восторженно слушать суровые воспоминания воинов и рассказывать забавные истории о своих любовных приключениях в деревенской глуши. Из-за этих приключений маменька и отправила его «охладиться на водах», вот только денег дала всего ничего, дабы не искушать любимое чадо амурными похождениями в Европе: знала старая, что в отличие от рязанской деревни тут за все надо платить.

Молодые люди – а генерала в его тридцать шесть называть пожилым тоже было не резон – прекрасно проводили время до тех пор, пока однажды, после утреннего питья минеральной воды, не случилось то, что бывает в волшебных сказках, да еще, пожалуй, в душещипательных дамских романах. По крайней мере генерал Муравьев был убежден, что с ним ничего подобного произойти не может.

В то утро они уговорились поехать в Кельн, или Колонь, как его по-старинному иногда называл Муравьев. Завсегдатаи курорта все уши прожужжали русским про тамошний собор, который строился уже шестьсот лет и по праву мог считаться восьмым чудом света. Да и само путешествие по железному пути – а дороги эти за двадцать лет покрыли почти всю Европу, – было чрезвычайно интересно. В России первую такую же построили восемь лет тому назад, она связала Петербург с Царским Селом и дачным Павловском, всего двадцать семь верст, и служила больше для развлечения.

Извозчицья пролетка доставила их к ахенскому вокзалу минут за десять до прихода поезда. Дурнов как штатский отправился за билетами, а военные остались в привокзальном сквере, чтобы без суеты и спешки выкурить по малой сигарке.

И тут Муравьев увидел... Нет, не увидел, а ощутил приближение чего-то необыкновенного, неизъяснимого. Такое чувство было у него уже однажды, в день коронации императора Николая Павловича, когда он, шестнадцатилетний воспитанник Пажеского корпуса, только-только получивший чин фельдфебеля, стоял в почетном карауле на пути следования импера-

торской четы и многочисленной свиты в Успенский собор Московского Кремля, где по традиции венчались на царство все Романовы. В Москве в тот день находились тридцать восемь его товарищей по корпусу, и каждому великий князь Михаил Павлович, с недавних пор заведовавший всеми военно-учебными заведениями, вручил памятные серебряные медали с профилем молодого императора, но в почетный караул были назначены только тринадцать лучших воспитанников выпускного класса. Николаша очень этим гордился и, стоя на посту, тянулся изо всех сил, чтобы казаться выше своего невеликого роста и более соответствовать выпавшей на его долю торжественной миссии. Августовское солнце палило немилосердно, телу в суконном серо-зеленом мундире было тесно и душно, голова под форменной шляпой взмокла, правая рука, вертикально державшая шпагу с эфесом на уровне груди, так и норовила опуститься, но юноша терпел, от напряжения почти не видя неторопливо проплывавшие мимо фигуры сановников. И вдруг... сердце как бы остановилось, потом забилось часто-часто, Николашу охватило предчувствие сладкого ужаса, он зажмурился и вслед за тем сразу распахнул вмиг прояснившиеся глаза. И совсем близко увидел веселую улыбку ослепительно красивой юной женщины.левой рукой она обмахивалась небольшим страусовым веером, а под правую ее поддерживал сам великий князь Михаил Павлович.

«Супруга, – понял Николаша. – Великая княгиня Елена Павловна...»

Он поймал ее смеющийся взгляд и невольно улыбнулся в ответ.

– Какой славный юноша! – сказала она мужу.

– Кто? – обернулся Михаил Павлович и сверху вниз – был на голову выше – посмотрел на Николашу. – А-а, это Николай Муравьев. – Великий князь славился великолепной памятью: став шефом лейб-гвардии Московского полка, он быстро запомнил в лицо и по именам не только офицеров, но и нижних чинов. А теперь еще и показал, что ему достаточно одного взгляда: ведь он видел Николашу только во время вручения медали.

Юный караульный похолодел: он был наслышан о грубой солдафонской натуре великого князя и понятия не имел, как тот расценит столь фамильярный обмен улыбками с ее императорским высочеством. И, наверное, все его чувствования столь явно отразились на лице, что Михаил Павлович неожиданно фыркнул, отвернулся и, отходя, сказал жене:

– Усердием не обделен. Если хочешь, он будет твоим камер-пажем.

– Хочу, – долетело до Николаши. Он не поверил своим ушам, но пришлось, потому что Елена Павловна, удаляясь, еще раз обернулась и помахала ему пушистым веером.

С того дня великая княгиня то и дело оказывала покровительство своему избраннику: начиная с определения после окончания Пажеского корпуса прапорщиком в любимый императором Николаем Павловичем лейб-гвардии Финляндский полк и во множестве других sluчаев. А Николай Муравьев, когда бы ни бывал в Петербурге, непременно наносил визит признательности своей благодетельнице; всегда стесненный в средствах, поскольку жил только на жалованье офицера, порою на последние деньги покупал ей букет цветов. И, принимая сей скромный дар, великая княгиня вряд ли догадывалась, что это еще и тайный знак обожания рыцарем своей дамы сердца. Неслучайно, дослужившись до генерала, отмеченный ранами и наградами, он за девятнадцать лет ни на одну женщину не обратил пристального мужского внимания. Нет, разумеется, монахом не был, а когда служил начальником отделения Черноморской линии, у него некоторое время постоянно жила одна особа, выдававшая себя за родственницу, но это было всего-то удовлетворение требований естества.

И лишь теперь...

Когда мимо куривших в привокзальном сквере офицеров быстрым шагом прошла девушка без шляпки, Муравьев не успел увидеть лица, заметил лишь, что в ее правой руке была небрежно свернутая, можно сказать скомканная, газета, крепко зажатая в кулачке. Ему буквально бросился в глаза именно этот побелевший от напряжения кулачок. И еще: должно быть, не случайно она шла под палящим солнцем простоволосая, без зонтика, что на курортах

не приветствуется, и дамы, не говоря уже о юных девушках, тщательнейшим образом блюдут этот неписанный закон. Значит, она второпях выскочила на улицу, не думая о том, как выглядит в глазах окружающих; да и видела ли она окружающих? Он почувствовал, как тревожно защемило сердце, и пошел за ней. Голицын окликнул – генерал не отозвался, не оглянулся, похоже, даже не услышал.

– Куда это он? – спросил подошедший с билетами Дурнов.

Голицын пожал плечами:

– Кажется, наш генерал пошел в атаку...

– Без сабли? – пошутил завзятый ловелас.

Поручик продолжил шутку:

– В такой диспозиции сабля – только помеха. – Но тут же добавил задумчиво и серьезно: – Однако что-то здесь не так...

4

...Катрин шла по зеленой улице Ахена, не оглядываясь и сквозь слезы ничего не видя вокруг. Совсем недавно, каких-то полчаса назад, жизнь была прекрасна, мир – ярко-солнечный и распахнут широко-широко. Теперь он сузился и сжался до серого тротуара под серыми деревьями; навстречу промелькивали серые тени с серыми лицами под серыми зонтами; откуда-то долетел и потянул к себе пронзительно-серый гудок локомотива железной дороги.

Катрин свернула с оживленной улицы в переулок, выходящий между игрушечными домиками, утопающими в садах, и через минуту вышла к невысокой насыпи железной дороги, вдоль которой бежала натоптанная тропинка. Здесь Катрин остановилась и поглядела в одну, затем другую стороны. Она вспомнила, что где-то читала, как крестьянская девушка, обманутая возлюбленным, бросилась под поезд.

Вдалеке из-за поворота показался тупой лоб локомотива под высоким перевернутым конусом трубы, равномерно выбрасывающей клубы черного дыма. Катрин пошла ему навстречу. Слезы ее высохли: с прежней жизнью надо было кончать, а для этого...

Локомотив загудел, выпустив струю белого пара. Из окна почти по пояс высунулся машинист в черной куртке и черном кепи. Он размахивал руками и что-то кричал. Катрин сделала шаг в сторону, как бы успокаивая машиниста, но, когда до передних колес оставалось не больше трех-четырех метров, метнулась на рельсы...

5

Муравьев отставал от девушки сажени на полторы, не больше. И всю дорогу ему казалось, что совершенно непонятным образом он ощущает ее нервную взволнованность. Впрочем, некогда было удивляться открывшимся способностям – ни на секунду не отпускало напряжение от ожидания опасности. И в последний момент он рванулся в невероятном прыжке, левой, здоровой рукой ухватился за складки платья, выдернул девицу буквально из-под набежавших колес, и они кубарем покатались с насыпи.

Нарядные вагоны, постукивая на стыках рельс, катились мимо, из раскрытых окон выглядывали пассажиры, что-то кричали, а Муравьев, даже лежа на грязной щебенке, все боялся выпустить из пальцев скользкий шелк. В груди медленно плавился ледяной кусок ужаса от сознания, что мог бы не успеть.

Девушка лежала ничком, не шевелясь: наверное, была в обмороке. В правой руке, откинутой тыльной стороной к земле, по-прежнему зажата газета, ветерок шевелил надорванный край.

Муравьев осторожно перевернул спасенную на спину. Она дышала судорожно, со всхлипами, но глаз не открывала. Даже, как он заметил, прижимурилась. Может, ей было стыдно за свой поступок, и она по-детски старалась отдалить момент встречи взглядом со своим спасителем. Лицо не пострадало – и то хорошо, а грязные пятна на лбу и щеках – это от пыльной щебенки.

Что же толкнуло ее под страшные колеса локомотива? Уж не в газете ли кроется жестокая причина? Похоже, горе, слепое горе толкало ее вперед и вперед и вытолкнуло, наконец, на железную дорогу.

Девушка глубоко вдохнула, закашлялась и, повернувшись набок, зарыдала. Муравьев гладил ее по плечу и приговаривал по-русски:

– Все в порядке, милая... все в порядке...

Не поворачивая головы, она протянула ему газету. Это оказалась парижская «Монд», развернутая на странице, где в траурной рамке были напечатаны в несколько колонок имена и фамилии солдат и офицеров французского Иностранного легиона, погибших в сражении под Эль-Баядом. Муравьев знал, что в песках Западного Алжира идут кровопролитные бои с войсками мятежника Абд-эль-Кадира.

– Кто? – спросил он уже по-французски.

– Лейтенант Анри Дюбуа, – донеслось сквозь всхлипывания.

Муравьев нашел это имя в первой колонке, вздохнул:

– Ваш родственник?

Девушка вытерла слезы и попыталась встать. Муравьев поддержал ее и поднялся сам. Они принялись отряхиваться.

– Ваш мундир... он весь в грязи...

– Да и ваше платье не лучше...

Она посмотрела на него и слабо улыбнулась. У Муравьева все внутри оборвалось: девушка и без того была очаровательна, а улыбка, даже столь беглая, осветила ее глаза, губы, щеки, растрепавшиеся темные волосы, и вмиг это лицо заслонило все прошлое, даже преклонение перед великой княгиней Еленой Павловной. Он понял, что его жизнь с этой самой минуты полностью принадлежит ей, незнакомой юной француженке.

– Позвольте представиться: генерал-майор Николай Муравьев.

– Так вы русский! – Муравьев молча наклонил голову. – А меня зовут Катрин де Ришмон. – Она вздохнула, и глаза ее снова наполнились слезами. – Анри Дюбуа – мой кузен. Мы... мы любили друг друга...

– Потерять любимого, конечно, очень тяжело. Примите мои соболезнования. Но... это совсем не значит, что и вы должны уйти из жизни... да еще таким ужасным способом.

Катрин мгновение помедлила, как будто колеблясь, но тут же удивленно взглянула на него:

– Я и не хотела уходить из жизни. Расстаться с прежней – да, собиралась, но вы помешали...

– Тогда я ничего не понимаю! Вы же бросились под поезд!

– Ничего подобного! – Катрин снова бегло глянула в растерянные глаза «спасителя» и грустно улыбнулась. – Когда у нас в Гаскони проложили железную дорогу, Анри как-то сказал мне: если хочешь покончить с прошлым, надо перескочить через рельсы перед самым поездом, и поезд отрежет это прошлое. Вот и я хотела...

– Но это же очень опасно! Стоило ли так рисковать!

Катрин глубоко вздохнула:

– *Per crucem ad lucem*, как говорит наш духовник, патер Огюстен. Он любит патетику.

– А что это значит? – Муравьев не понимал латынь.

– Через страдания – к свету! – усмехнулась девушка.

Глава 3

1

Выходя из гостиной, генерал в который раз подивился природной деликатности поручика Вагранова. Он, конечно же, слышал музыку и пение и, постучав, не стал вламываться с докладом в покои, как на его месте поступили бы многие адъютанты дворянского происхождения. И сейчас стоял по правую сторону двери – крепкий, среднего роста офицер с грубоватым обветренным мужественным лицом, которое очень молодили небольшие пшеничные бакенбарды и такие же усы.

«Крестьянский сын, мой верный наперсник», – с удовольствием подумал Муравьев.

Увидев генерала, поручик встал по стойке смирно, но без угодливого усердия:

– Здравия желаю, ваше превосходительство!

– Здравствуй, Иван Васильевич. Чего ты чинишься не к месту? Когда нет посторонних, зови меня по имени-отчеству.

– Слушаюсь, ваше превосходительство!

Муравьев засмеялся, махнул рукой, спросил благо душно:

– Ну что там у тебя?

– Николай Николаевич, там полицейские пьяных привели...

– Что?! – вскинулся Муравьев. Благодушие на лице мгновенно смыло багровой волной. – На часах еще десяти нет, а в городе уже пьяные?!

Оттолкнув Вагранова, он устремился к выходу.

2

С пьянством у генерала были, можно сказать, особые отношения.

Его первая отставка из армии после Польской кампании и трехмесячного лечения болезней, накопившихся за четыре года военной службы (а он с детства по причине хрупкости сложения и слабости здоровья был подвержен всяческим простудам и воспалениям), привела к тому, что отец потребовал от него вступить в управление имением Стоклишки. Это имение в Виленской губернии пожаловано было императором своему статс-секретарю в пожизненное пользование. Сам Николай Назарьевич тоже вышел к тому времени в отставку с должности начальника личной Его Императорского Величества канцелярии и осел со второй женой Елизаветой Антоновной, урожденной Моллер, и тремя их дочерьми в своем селе Покровском, неподалеку от Шлиссельбурга. Он успешно занимался сельским хозяйством и полагал, что кто-либо из сыновей должен приложить свои силы к основательно запущенным Стоклишкам. Но свободным на тот момент оказался лишь самый старший – Николай; второй сын, Валериан, недавний выпускник Пажеского корпуса, успешно продолжал военную службу в чине поручика, младшему, Александру, исполнилось только одиннадцать, он учился в Лицее.

Пришлось двадцатидвухлетнему штабс-капитану в отставке впрягаться в помещичью лямку. Четыре года он старательно, как ему всегда было свойственно, тянул ее, но Бог, наверное, все же предназначал его для других трудов: на сельском поприще, не в пример военной службе, успехов не было и не предвиделось. Из лета в лето Николая преследовали неудачи: неурожай, обильные дожди, растущие долги (отец требовал отдавать ему накопленные неимоверными трудами деньги, все до копейки). В письме брату Валериану он жаловался с непривычной для его энергичной натуры тоской: «...все мои дела, все мои отношения, все мои обсто-

яательства, намерения, виды и расчеты так спутались, так затмились – и все мне на беду, все мне на горе, на неприятные хлопоты, – что я начинаю терять и терпение, и философию, и энергию...» Тогда-то он и познал, что такое безоглядное пьянство. Нет, конечно, Николай и раньше не прочь был распить бутылочку хорошего вина в офицерской компании; были случаи, что и перебирал, но каждый день пить до полного затмения, да и не вино, на которое не было денег, а вонючую деревенскую сивуху – увольте! Это было противно его уму, натуре, и тем не менее...

Не однажды впоследствии с содроганием душевным вспоминал Муравьев тот поздний октябрьский вечер, когда скакавший в Вильно по служебным делам брат Валериан заехал переночевать в отцовское имение. Поручика никто не встретил, поскольку в большом барском доме слуг почти не было – кухарка и камердинер Флегонт, крепостной Николая Назарьевича, отряженный к сыну с самого первого дня его службы в полку, давно спали. Валериан, не раз бывавший в Стоклишках и знавший, кто где обретается, сам разбудил конюха и сдал ему коня. Потом, звеня шпорами и, как ни странно, нигде ни за что не зацепившись в крошечной темноте, добрался до комнаты старшего брата.

Николай сидел за столом, на котором горела единственная свеча в медном подсвечнике и стояли ополовиненный штоф толстого зеленого стекла и несколько тарелок – с квашеной капустой, солеными огурцами, жареной с мясом картошкой. В руке его посверкивала гранями большая хрустальная рюмка. Николай только что выпил и задумчиво вертел ее в пальцах. Увидев Валериана, он вскочил, опрокинув стул, нетвердо шагнул навстречу и припал к груди брата, обнимая его обеими руками. Потом поднял лицо – Валериан был выше на полголовы – и они расцеловались. От Николая густо пахнуло сивушными ароматами.

– Как я рад!.. Как я рад!.. – повторял он, помогая брату снять николаевскую, с пелериной, подбитую кроличьим мехом шинель. Суконный, с опушкой, кивер Валериан небрежно кинул на диванчик у стены.

Николай достал из настенного шкафчика еще одну рюмку, тарелку, вилку, устроил брата за столом. Хотел плеснуть из штофа, но Валериан остановил его:

– Что ты пьешь всякую гадость?! – и вынул из внутреннего кармана шинели плоскую фляжку. – У меня тут арманьяк...

Выпили по рюмке пряно пахнущей маслянистой жидкости – от удовольствия даже в носу защипало; Валериан в отсутствие лимона и сыра закусил огурцом и картошкой. Николай закусьевать не стал, покрутил лобастой головой:

– Стоило нектар переводить! Я уж лучше самогончику...

– Не узнаю тебя, брат, – удивленно протянул Валериан. – Видно, частенько прикладываешься к штофу, коли у тебя с сивухой столь фамильярные отношения. Спиться не боишься?

– Боюсь, – мрачно признался старший брат. – А что прикажешь делать, мой любезный Валера, ежели на каждом шагу терплю поражение за поражением? Вот – осыпалась пшеница, потому что нет денег, чтобы нанять крестьян на уборку. Ты же знаешь: крепостных в Стоклишках нет, а своих, из Покровского, папенька не дает... Коров никто не хочет брать в аренду, поскольку масло и разные там творог и сметана на рынке все дешевеют и дешевеют. Кому охота за гроши спину гнуть?! – Николай дрожащей рукой налил из штофа в свою рюмку, опрокинул в рот, выдохнул и бросил туда же щепоть капусты. Прожевал, глядя на дрожащий огонек свечи. Валериан молчал. Брат тяжело вздохнул. – А в казну платить очередной взнос – это полторы тысячи рублей, где их взять?! Ты знаешь, я давно уже похож на Сизифа с его камнем. Качу-качу его в гору, а он р-раз! – и вниз... И ко всему еще – полнейшее духовное одиночество!

– Жениться тебе надо. Двадцать восемь лет уже...

– Ага! Ты вон женился. Сколько я тебе советов давал, как строить отношения с родителями невесты, каждый день писал – а что толку? Папенька наш сказал: нет! – и все усилия пошли прахом... Да и не нравится мне никто.

– Знаю, знаю, кто у тебя на сердце. – Валериан налил себе арманьяку, а брату – мутноватой жидкости из штофа. Встал. Николай тоже поднялся. – За здоровье великой княгини Елены Павловны!

Выпили, сели.

– Все, все мне опротивело! – Николай так резко стукнул рюмкой по столу, что у нее отвалилась ножка. Удивленно посмотрев на обломки, отодвинул их в сторону. – Представляешь, Валера, мне даже сны стали сниться препротивные. Вижу мертвых в гробах, все они полусгнившие и смотрят на меня... Поля вижу, засеянные сгнившей пшеницей... И люди вокруг меня, незнакомые, злобные... Раньше я мог сказать «что будет, то будет» и оставался спокоен в любых передрыгах, а теперь постоянно предвижу худое, и все – представляешь? все! – сбывается.

Валериан с изумлением смотрел на старшего брата – у того по щекам текли слезы. Николай двумя ладонями вытер их и по-детски шмыгнул носом:

– Вот такие дела, брат: горюю и во сне и наяву. Только бутылка и утешает...

– Надобно тебе вернуться на службу. Попросись к Головину. Он теперь военный губернатор Варшавы.

– Писал мне Евгений Александрович, приглашал... Николай познакомился с генерал-лейтенантом Головиным во время Турецкой кампании. Лейб-гвардии Финляндский полк, в котором Муравьев начал службу прапорщиком по окончании Пажеского корпуса, после взятия крепости Варны был отправлен обратно в Россию, но подпоручик Муравьев остался по причине болезни. А, честно говоря, ему страшно хотелось поучаствовать еще и во взятии второй важнейшей турецкой крепости – Шумлы. Тут его заметил начальник 19-й пехотной дивизии, только что назначенный генерал-губернатором Варны, и взял к себе в адъютанты. Следует сказать, что юный подпоручик вовсе не желал быть «паркетным офицером»: он принимал живейшее участие в десантной операции в Бургасский залив, командовал взводом при взятии Сизополя и более чем исполнил свою мечту при штурме Шумлы – был в числе первых врывавшихся на три последних редута крепости. Теперь же он впервые вникал в дела гражданского и военного управления Варной. Причем со всей тщательностью, хотя и не был уверен, что эти знания и умения когда-нибудь могут пригодиться.

Не забыл Головин про своего адъютанта и в Польскую кампанию, когда был назначен командиром 26-й пехотной дивизии. Живой ум, дипломатическая гибкость, проявленная юным порученцем в переговорах с командирами мятежников, стремление доводить любое дело до конца, мягкое отношение к солдатам и строгое, даже жесткое, блюдение чести офицера – все эти черты Муравьева оказались настолько близки чаяниям генерала, что он относился к Николаю, как к родному сыну, тем более что сына-то как раз у него и не было. Он весьма сожалел, что адъютант ушел в долгий отпуск, а потом и вовсе в отставку, но из виду его не выпускал, ведя хоть и не оживленную, но регулярную переписку.

– А ты что решил? – отвлек брата от размышлений Валериан.

– Да не решил я... Военной должности у него нет, обещает протекцию по гражданской части. Но это противно и моим правилам, и моему честолюбию – ты же знаешь, сколь оно у меня обширно. По моему разумению, лишь военный путь обещает рано или поздно возвышение, а на гражданской службе замараюсь сослужением со всякими канальями, унижу себя не только в глазах общества, но и в своих собственных...

– А здесь ты погибнешь!

– И то верно, брат, – вздохнул Николай. – Печень стала побаливать. Волей-неволей придется прислониться к Варшаве.

...Муравьев стал чиновником особых поручений в комиссии народного просвещения Царства Польского, но пробыл в этой должности очень недолго. Головина назначили командиром отдельного Кавказского корпуса, и Муравьев не пожелал ни дня служить после его отъезда.

Он вернулся в Стоклишки и еще сильнее затосковал по деятельной военной службе. Писал военному министру прошения о возвращении в армию, а именно – на Кавказ, где в то время от Каспийского до Черного моря кипела война с горцами. И 27 апреля 1838 года определен был в чине майора к генералу от инфантерии Головину офицером для особых поручений. Провоевав под началом Головина два года в Дагестане и Чечне, получив серьезное ранение при штурме неприступной крепости Шамиля, тридцатилетний подполковник Муравьев был назначен на должность начальника отделения Черноморской линии, в связи с чем произведен в полковники. В состав отделения входила Абхазия – девять крепостей и укреплений, защищаемых линейными батальонами. Большая самостоятельность и несравнимо большая ответственность в строительстве укреплений и организации экспедиций против немирных горских племен при извечном муравьевском честолюбивом стремлении выкладываться полностью и того же требовать от подчиненных, в первую очередь от офицеров (а они не упускали случая пожаловаться на нового начальника командующему Черноморской линией генерал-лейтенанту Раевскому) – все это не однажды подводило полковника к нервному срыву. А лучшее лекарство от срыва – алкоголь. Отрезвил его, как ни странно это звучит, пьяный скандал, устроенный им подполковнику Филипсону, прибывшему по приказанию Раевского из штаба линии с инспекционными целями. Штаб находился в Крыму, в Керчи, в курортных, по мнению Муравьева, условиях, и офицеры его чувствовали себя отнюдь не на кровопролитной войне, которую несли на своих плечах начальники отделений и их подчиненные. Накануне приезда Филипсона непокорные джигеты вырезали маленький гарнизон одной из башен; Муравьев был страшно расстроен, выпил лишнего и, когда подполковник поинтересовался успехами в покорении особенно воинственных убыхов – а успехи были, и немалые, за что Муравьеву вскоре был высочайше пожалован чин генерал-майора, – начальник отделения вспылил и выложил инспектору все, что думал о штабе, командовании линии, самих инспекциях и прочая, и прочая. Надо отдать должное Григорию Ивановичу Филипсону: он ценил и уважал Муравьева как хорошего администратора, скоро и усердно справлявшегося с делами своего отделения, и не стал докладывать наверх о случившемся. Сам же Николай Николаевич последующие два-три дня стыдился встречаться с подполковником и дал себе зарок никогда и ни при каких обстоятельствах не выпивать больше одной рюмки водки или бокала вина.

Зарок свой он не нарушил ни разу. Более того, обнаружил в себе душевную потребность бороться с пьянством как со вселенским злом. Она особенно укрепилась после того, как по возвращении с заграничных минеральных вод его перевели в министерство внутренних дел и направили с ревизией в Новгородскую губернию. Вот где игодились знания и умения, полученные в Варшаве, вкупе с природной муравьевской тщательностью. Губерния была бедная, и бедность эта происходила не только от скудости земли или беспорядков в гражданском управлении, но и от повсеместного запустения из-за неумеренного пьянства. И потому одним из своих первых распоряжений по вступлении в должность тульского гражданского губернатора и военного губернатора Тулы (назначение состоялось 16 июня 1846 года) он ограничил время продажи спиртного в Туле и уездных городах. Нарушителям грозило суровое наказание.

3

На нижних ступеньках высокого крыльца двухэтажного губернаторского дома в мундире и при шпаге стоял полицмейстер. Всем своим видом он был устремлен вверх, к парадным дверям. Позади него полицейские держали под руки двух пьяных мужиков. Быстро вышедший, можно сказать выскочивший, на крыльцо губернатор не удостоил их даже взгляда. Увидев начальство, полицмейстер резво бросил правую руку к треуголке; полицейские вытянулись, не выпуская, однако, задержанных.

– Господин полицмейстер, я приказывал пресекать пьянство?! – закричал Муравьев, покраснев от гнева.

– Так точно, ваше превосходительство, – обмирая, снова отдал честь полицмейстер. – До десяти часов в будние дни никому ни капли!

– А эти... – Муравьев искал подходящее к случаю грубое определение, не нашел и просто выругался. – Где они нахлебались?

– В трактире «Три петуха».

– Та-ак... Двадцать плетей каждому, для острастки. А целовальнику, третьему петуху, – сорок, чтобы знал, кому и когда наливать.

– Права не имеете, – угрюмо сказал один из пьяных. – Мы не крепостные.

Муравьев так удивился, что посмотрел на мужиков сначала через перила, потом спустился по ступенькам и встал перед ними, заложив руки за спину и внимательно вглядываясь в каждого. Один из них, широкоплечий и коренастый, был в просторной полотняной рубахе, перехваченной плетеным шерстяным пояском, плисовые штаны под коленями упрятаны в онучи, на ногах – лапти. Из круглого выреза рубахи выпирала мощная, красная от загара шея, на которой крепко сидела русоволосая голова, стриженная под горшок. Ярко-рыжая борода закрывала половину круглого лица, на котором выделялись толстый нос и голубые глаза. Вторым, смуглым, черноусым и черноволосым, примерно среднего роста, одет был по-европейски – в клетчатую рубашку с отложным воротником, серую куртку, полосатые брюки навывпуск, на ногах грубые башмаки на толстой подошве, на голове суконная фуражка. Для российской глубинки, каковой, по сути, являлась Тульская губерния, мужик этот был фигурой чужеродной, отметил Муравьев, вон, и одет так, как будто только что прибыл откуда-нибудь из Англии или Германии. Его и мужиком-то называть было как-то неуместно. Во Франции ему запросто говорили бы «месье», подумалось вдруг генералу. Ну, так то во Франции. Там, кстати, водкой с утра не нажираются.

И от этой мысли он снова взъерился:

– Значит, я не имею права тебя уму-разуму учить? А ты имеешь право жизнь на водку менять?

– Моя жизнь. Захочу – пропью, захочу – Отечеству отдам, а захочу – на франки обменяю. И вообще, я – французский подданный.

– Вон, значит, откуда ты явился. Но там, друг любезный, человек знает не только свои права, но и обязанности. А с утра пьют лишь бродяги да бездельники... Добавьте ему еще десяток! – жестко сказал губернатор и недобро усмехнулся, встретив яростный взгляд чернявого. Рыжебородый вздохнул и понурил голову.

– Ваше превосходительство, – подал голос с крыльца вышедший следом за губернатором Вагранов, прерывая процедуру наведения порядка, – этот рыжий – столяр знатный Степан Шлык, он всю вашу мебель изготовил...

– Господин поручик, – ледяным тоном отчеканил Муравьев, – прошу не вмешиваться. Поблажек от меня не будет никому. Если мастер с утра пьян, тем хуже для него.

В раскрытые ворота ворвался конник – офицер-фельдъегерь. Его мундир и ботфорты были покрыты пылью, на бритом лице потеки пота оставили грязные следы. Не слезая с лошади, фельдъегерь вскинул два пальца правой руки к козырьку высокого кивера, а левой вынул из кожаной сумки на груди и подал Муравьеву небольшой пакет под сургучной печатью.

– Господин губернатор, срочная депеша от министра двора его императорского величества. Ответ ожидается немедленный.

Муравьев вскрыл пакет, пробежал глазами короткий текст, из которого явствовало, что император Николай Павлович по пути на юг проследует через Тулу 5 сентября ночью без остановки, а господину губернатору надлежит явиться на прием поутру на ближайшей за Тулой станции.

Сердце облило холодом: почему государь не пожелал остановиться в Туле? Губернатор еще в августе был извещен министром внутренних дел Перовским о путешествии царя на юг и, естественно, готовился к его проезду тщательнейшим образом. А тут вдруг... Неужто что-то из его действий на высоком посту вызвало монаршее неудовольствие?! Кляузников из губернских чиновников, конечно, более чем достаточно: многим он, Муравьев, за год успел наступить на любимую мозоль. Особенно взяточникам – столько развелось их в каждом присутствии, не приведи Господь! И каждый, не щадя живота своего, печется о деле государевом, о благе народном. С-сукины дети!..

– Передайте его высокопревосходительству: все будет исполнено в точности, – произнес генерал, четко разделяя слова. – Поручик Вагранов, позаботьтесь о смене лошади.

Вагранов легко сбежал с крыльца, скрылся за углом дома – там была личная конюшня губернатора – и через минуту появился уже верхом. Фельдъегерь снова откозырял, и они унеслись вдаль по улице.

Муравьев проводил их задумчивым взглядом и обернулся к полицейским:

– А вы исполняйте, что приказано.

4

Мужиков приволокли в полицейскую часть, в съезжую избу, где все было заранее приготовлено к возможным экзекуциям: через равные промежутки стояли три широкие лавки, потемневшие и выглаженные до маслянистого блеска многими обнаженными телами; на бревенчатой стене висели кнуты и плети, в ушате мокли розги.

Муравьев не знал столяра в лицо, потому что дела с ним вели Вагранов, бывший в доме за управляющего, и Екатерина Николаевна, но имя слышал. А спросить, как зовут второго задержанного, ему и в голову не пришло, но полиции они были хорошо известны оба. И не потому, что мужики нарушали какие-то установления, нет, за исключением злополучной утренней выпивки, никаких грехов за ними не водилось. Просто рыжебородого Степана Шлыка, почитай, вся Тула действительно знала как мастера золотые руки, а черноусый Григорий Вогул был у него на подхвате. Вогул полгода тому назад объявился в Туле и был немедленно взят под пригляд полиции. Родом он оказался из уездного городка Ефремова, сын лекаря из крепостных, получившего вольную со всем семейством за излечение хозяина от какого-то смертельного недуга, а вот паспорт имел французский на имя Жоржа Вогула. Все отметки о пересечении границы были на месте, но сам приезд «Жоржа» вызывал недоумение и недоверие: что он тут забыл? Объяснение, что, мол, пригнала тоска по родине, которую покинул семь лет назад, отправившись в Германию учиться медицине, что немало горького хлебнул на чужбине и теперь хочет надышаться родным воздухом, прежде чем вернется в Европу для продолжения медицинского образования, воспринималось полицейскими чинами как сумасшествие. Но придрататься было не к чему, и его не трогали.

А выпили они со Степаном от усталости: всю ночь не покладали рук, заканчивая заказ одного купца – огромный буфет красного дерева. Между прочим, мебель губернатору делали втроем – третьим был сын Степана Гринька – по собственноручным рисункам Екатерины Николаевны, и гарнитур получился такой стильный (хозяйка назвала его «*empire légère*»¹), такой изящно-фигурный, что все, кто бывал в доме губернатора, не верили, что эти столы, стулья, кресла, диваны не прибыли из Франции, а сработаны тульскими мужицкими руками. После этого у Шлыка не было отбоя от заказчиков; вот и сахарозаводчик Баташов заказал буфет.

¹ Легкий ампир (фр.). – Здесь и далее прим. авт.

Утром точно в срок столяры сдали работу, получили расчет и отправились отдыхать. А по дороге завернули в кабак, дабы слегка воспарить. И выпили-то всего-ничего, но вдруг разморило, а тут – полиция. По правде говоря, их бы отпустили восвояси – кому нужны лишние хлопоты? – но на беду попались на глаза полицмейстера, а тому приспичило выслужиться перед губернатором: вот, мол, как зорко он следит за порядком. Ну и получилось то, что получилось.

Привели целовальника. Лысый жидкобородый мужичок в суконной, обшитой бархатом поддевке и юфтевых сапогах обливался слезами и без конца крестился.

– Ну, мужики, не повезло вам, – сказал участковый пристав. Полицмейстер убыл в управление, и он остался за главного. – Разоблачайтесь до пояса и ложитесь на лавки.

Горестно вздыхающий Шлык и всхлипывающий целовальник покорно разделись и улеглись. Вогул и не подумал подчиняться – стоял, скрестив руки на груди.

– А тебе, француз, особое приглашение требуется? По-русски уже не понимаешь?

– Права не имеете, – процедил Григорий. – Я буду жаловаться.

– Вот выпорем – и жалуйся за милую душу. На губернатора. Он, такой-сякой, пьянствовать не дает. Можешь по министерству внутренних дел жаловаться – самому Перовскому, можешь прямо императору писать. По-французски. Он поймет.

Полицейские прыскали в кулак, а Вогул еще больше мрачнел, представляя, каким жалким и смешным он выглядит в глазах этих простецких служак. Ну, подумаешь, тридцать плетей! Это тебе не сотня шпицрутенов, когда вся спина превращается в кровавое месиво и потом месяц валяешься на больничной койке. Но там, в Иностранном легионе, среди боевых товарищей, шпицрутены не были унижением, а здесь, на родине, эти ничтожные плети кажутся нестерпимыми...

Приставу надоело ждать, и он подал знак полицейским. Вогулу заломили руки, сорвали с него куртку и рубашку, так что посыпались пуговицы, и бросили тело на лавку, зажав руки и ноги.

И все обомлели. Спина Григория от лопаток до пояса представила глазам страшную мешанину красно-сизых рубцов. Пристав крикнул:

– А ты, друг любезный, не музавер? – Музаверами на Тульщине, Орловщине иногда называли злодеев. – Где это тебя так разуделали?

– Не ваше дело, – сквозь зубы выцедил Вогул.

– Не наше, – согласился пристав. – Пока – не наше, а там как Бог даст. Только будь ты к нам поотзывчивей, и мы бы вошли в твое положение. А так, друг ситный, – не обессудь...

Но, несмотря на безжалостные слова, пристав дал знак исполнителю: ты, мол, не усердствуй. Кнутабоек на съезжей был умелый. Выбрал для Вогула плетть помягче, без узлов, и не хлестал, а будто прикладывал ее то так, то этак. За тридцать ударов – на спине ни одной полоски. Вогул удивился, поднял голову и встретился взглядом с приставом – тот усмехнулся и подмигнул. Но Григорий благодарности не преисполнился: глаза его оставались мрачными и отчужденными.

После тридцатого удара полицейские отпустили его руки и ноги. Вогул медленно поднялся, надел рубашку, взял куртку и вышел во двор, сел на лавочку. Кто-то из служивых вложил ему в руку собранные с полу пуговицы. Вогул мельком глянул на них, сунул в карман. Где-то внутри груди в пустоте гулко стучало сердце, на душе было мерзко. Сквозь листву берез, еще не тронутую осенью, щедро светило солнце, но мир казался серым и отвратительным. Ненависть слепила глаза. Ненависть к самодовольному и чванливому губернатору, ненависть к самому себе, дураку, истосковавшемуся по родным березкам. Ну, вот они, березки, шепчутся, заигрывают с ветерком, и дела им нет до тебя и до твоих мучений. Чем же они тебе родные? Нет, тысячу раз прав был лейтенант Анри Дюбуа: родина там, где тебе хорошо. Где ты сыт, обут, одет, где у тебя есть женщина, где тебя уважают, черт возьми! А ты расслюнявился: ностальжи, ностальжи, – бросил свою ласковую Сюзанну и поскакал к отцу-матери, к родителям еще не

старым. А вот шиш тебе – нету ни отца, ни матери: три года как ночью дом сгорел, и они вместе с домом. Осталась одна сестра Лизавета, девка-вековуха, в избушке-засыпушке, сооруженной вокруг оставшейся после пожара печи на окраине Ефремова. Поплакали с сестрой на могиле родительской, отдал ей Григорий все деньги, что были с собой, и подался в Тулу, чтобы заработать на обратную дорогу во Францию. Тут Шлык его и прибрал. То ли потому, что жили когда-то Шлыки и Вогулы на одной улице в Ефремове, то ли потому, что пришлось Вогул тёзой его единственному и любимому сыну, семнадцатилетнему Гриньке. А скорее всего, и по-первому, и по-второму.

Ах, Шлык, Шлык... Угораздило же тебя соблазниться чаркой водки с утра пораньше. Вот и расплачивайся теперь собственной шкурой. Хорошо, Гриньку с собой не взял на расчет: пожалел – уж больно сладко спал парень перед вечеркой с девками. А то бы и ему всыпали. Вон отца порют – только плеть свистит...

Со Шлыком и целовальником обошлись на съезжей несравнимо круче, чем с Вогулом, хотя тоже без крови. Степан выдержал порку стоически. Сам встал, оделся, поклонился приставу. А вот целовальник взвизгивал после каждого удара, на семнадцатом затих – обеспамятел. Пришлось приводить его в чувство, окатив водой из ведра.

...Вогул и Шлык брели по пыльной улице.

– Попомнит меня губернатор, – мрачно сказал Григорий. – На узкой дорожке нам не разойтись.

– Да ладно тебе, Вогул, – уныло откликнулся Степан. – Учили-то за дело. Нашему брату, значитца, волю дай – все пропьем. Музда² нам надобна, музда.

– Эх, ты, темрий³! – усмехнулся Вогул. – Узда ему надобна, а не воля вольная. Я, Степан, вдосталь ее хлебнул, воли-то, и ничего, не пропил. И не генералу учить меня уму-разуму... Я сам себе генерал. В умных-то странах так живут.

– Так то в умных... – вздохнул Степан. – А все ж таки ты губернатора не трожь. Он здесь всего-то год с прибытком, а столько доброго издал...

– И чего же он такого доброго сотворил? – ядовито спросил Вогул. – То ли я не знаю! О тюрьмах позаботился, лес запретил рубить, собрался пристани на Оке устраивать... Так он по должности обязан о том заботиться. За это его благодарить?!

– А почему бы и нет? В тюрьмах тоже, небось, не свиньи обретаются. И леса изводить – чего хорошего? И пристани, значитца, надобны. А мостовые в городе – разве ж нелепо? А еще, люди сказывают, он царю писал супротив крепостной повинности и помещиков тульских звал подписаться...

– И что, нашлись дураки?

– А и нашлись! Князя Голицыны, Норовы, кто-то еще... Только, значитца, мало их. Царь навроде ответил: вот ежели б все подписались, он бы крепостных освободил...

– Ежели бы да кабы, да выросли бы во рту грибы, то был бы не рот, а целый огород. Мало ли обо что языки мочалют – разве можно всему верить?

– Люди зазря говорить не будут, – упрямо сказал Шлык. – Вона, сказывают: царь нашего генерала надо всей Сибирью начальником ставит.

– Бедная Сибирь! – скривился Вогул.

² Узда (местн.).

³ Темнота (местн.).

Глава 4

1

В тот же вечер, ближе к полуночи, губернатор Муравьев не спеша облачился в парадный мундир, проверил ордена, пристегнул генеральскую полусаблю, перед зеркалом выправил на голове треуголку с плюмажем. Екатерина Николаевна и Вагранов придирчиво осмотрели экипировку, расположение орденов на мундире. Их было немало: две степени Святой Анны (с бантом и императорской короной), две степени Святого Владимира (один с бантом), полный Святой Станислав (один с короной) да серебряная Георгиевская медаль и знак отличия за военное достоинство...

– Иван, как ты думаешь: может, мне вместо полусабли золотую шпагу наградную взять? – раздумчиво спросил губернатор.

– Оно бы, конечно, лучше. Сабля – по чину, а шпага – за храбрость! С самим императором говорить, по моему разумению, особая храбрость нужна, – осторожно отозвался верный наперник.

Екатерина Николаевна не поняла, о чем они говорят, и переводила вопросительный взгляд с одного на другого. Муравьев заметил и засмеялся:

– Мы говорим, не стоит ли на всякий случай защититься, – пояснил он по-французски жене. – С помощью золотой шпаги.

Муравьева оценила шутку и тоже засмеялась.

– Ви обязательно верньотесь победителем, – старательно выговорила она. – Так, Иван?

– Так точно, матушка Екатерина Николаевна! Генерал вернется только со щитом!

– Вашими устами да мед пить, – грустно усмехнулся генерал, но нарушать устав не стал. Шпага, полученная им за храбрость в сражениях с мятежными поляками шестнадцать лет тому назад, осталась висеть на стене в губернаторском кабинете.

2

Императорский поезд из двух десятков карет, колясок и прочих служебных повозок не остановился ни на ближайшей к Туле станции, ни на следующей. Николай Павлович торопился, но куда и почему – никто не знал. Может быть, имелся какой-то политический резон, однако император не поделился им ни с кем. Ни с канцлером и министром иностранных дел графом Нессельроде, ни с военным министром светлейшим князем Чернышевым – и тот и другой остались в Петербурге, ни даже с человеком доверенным, поскольку во многом мыслил с ним одинаково, министром внутренних дел Перовским, который всю эту дорогу сидел с царем в одной карете. А скорее всего эта спешка была еще одним проявлением неумной натуры Николая Павловича.

Она, эта натура, руководила им, когда он самолично командовал разгромом мятежников на Сенатской площади; когда два года спустя возглавил поход против Турции и всю кампанию был фактическим главнокомандующим, хотя номинально им числился генерал-фельдмаршал Витгенштейн. Она же главенствовала, когда царь живо занимался строительством железной дороги в Царское Село, а теперь большой, двухпутной, которая скоро соединит две столицы.

По сути, пробыв на троне двадцать два года, император так и не обучился тонкостям отношений в высшем свете, остался прямолинейным офицером и военным инженером. Одни им восхищались, другие называли солдафоном (благодаря тайной полиции он знал о тех и

других, но не обращал внимания). Рассказывали байку, как он после доклада главноуправляющего путями сообщения графа Клейнмихеля о спорах по пунктам прохождения на местности железной дороги Петербург – Москва соединил на карте линейкой обе столицы и прочертил карандашом маршрут. Некоторые добавляли при этом: мол, чем не Александр Македонский с его Гордиевым узлом? Он не любил, когда с ним хитрили, скрывали правду; над серьезными вопросами долго думал, но, если принимал решение, требовал быстрого и неукоснительного исполнения. В общем, о нем никоим образом нельзя было сказать по-пушкински – «правил, лежа на боку». Император и спал-то совсем помалу. В его рабочем кабинете за ширмой стояла походная койка, застеленная суконным солдатским одеялом: засиживаясь за полночь над сложными государственными вопросами, Николай Павлович нередко падал на нее, не раздеваясь, а сняв лишь сапоги, и отдавал Морфею три-четыре часа отдыха. Впрочем, койка сия знавала и романтические встречи, но об этом, естественно, помалкивала.

Император прикрыл глаза, вспомнив вечер накануне отъезда из Петербурга. Он уже, что называется, голову сломал, ища, кого назначить новым генерал-губернатором Восточной Сибири. Бывшего до того десять лет на этом посту генерал-лейтенанта Руперта сенаторская ревизия во главе с графом Толстым уличила в таком множестве злоупотреблений, вплоть до мздоимства, что новый канцлер Нессельроде, человек весьма щепетильный в отношении чиновничьей честности, настоятельно предлагал предать генерала суду: мол, «он не может оставаться в нынешнем своем звании и пользоваться далее доверенностью правительства по управлению отдаленным краем». Однако, зная об особой приязни императора к боевым офицерам, защитники Руперта упирали на заслуги его в войнах с Наполеоном и Турцией, и Николай Павлович решил спустить все на тормозах, уволив проворовавшегося вояку в отставку «по прошению», то есть с полным пенсионом.

Но уволить-то легко, а кого на освободившееся место? Восточная Сибирь, этот громаднейший край от Енисея до Тихого океана, не могла долго оставаться без правящей руки, а рука требовалась крепкая и жесткая, может быть, даже жестокая, чтобы приструнить распоясавшихся мздоимцев и казнокрадов, охранить интересы великой России перед лицом не только Китая и Японии, но и рвущихся к азиатским берегам океана Франции и Англии. Кто же, кто же, кто же сможет выполнить эту невероятной трудности миссию?! Лев Алексеевич Перовский осторожно предложил молодого генерал-майора Муравьева, уже год управлявшего Тульской губернией.

Император поморщился:

– Но ты же знаешь, как я отношусь к Муравьевым. Сколько их участвовало в мятеже на Сенатской? Восемь? Восемь офицеров в одночасье нарушили присягу, данную престолу и Отечеству!..

– Но, государь, один из замешанных в декабрьском бунте, Михаил Муравьев, по вашему же назначению с тридцать первого по тридцать пятый годы был даже гродненским губернатором, а потом возглавлял Департамент...

– Да помню я, помню, кого сам назначал, – раздраженно перебил император министра. – В Гродно требовался хороший конюший – дабы взнуздать этих норовистых польских жеребцов, что тот Муравьев и исполнил... Сибирь же – совсем иное дело!..

– Вот именно, иное, ваше величество. Просторы сибирские неохватны, инородцев много, с китайцами надобно ухо остро держать. Да и о возвращении Амура, восточного крыла России, пора подумать. А это все по силам лишь молодому, поистине героическому человеку, каковым, по моему разумению, показал себя генерал-майор Муравьев, старший сын ныне покойного Николая Назарьевича Муравьева... Кстати, бывшего при вас статс-секретарем. Генерал Муравьев блестяще проявил свои административные качества при ревизии Новгородской губернии и на посту тульского губернатора, а кроме того, он способный дипломат. Во время Польской кампании по поручению генерал-лейтенанта Головина вел переговоры с Ромарино

и другими польскими мятежниками на предмет их сдачи русским войскам, а в Абхазии ему фактически одному удавалось без сражений замирать воинственных убыхов и джигетов...

Николай Павлович слушал министра, не перебивая, потом жестом остановил его горячую речь.

– Ты так за него ратуешь, словно он – твоя единственная надежда на поприще внутренних дел.

Сказал серьезно, без тени улыбки, но чуткое ухо Льва Алексеевича уловило усмешливую иронию. И ответил министр в том же духе:

– Надежд много, да не все сбываются, ваше величество...

– А эта, думаешь, сбудется?

– Уверен, государь!

– Ладно, подумаю. Ты на меня, Лев Алексеевич, не дави...

На том разговор и кончился. Император думал, вертел в уме и так и сяк разные кандидатуры, но к окончательному решению пока не пришел.

А накануне отъезда, поздним вечером, в рабочий кабинет Николая Павловича постучала милая его сердцу невестка Елена, жена младшего брата Михаила.

Он встретил ее на пороге, словно ждал этого визита. Да что скрывать, конечно, ждал, поскольку брат еще утром ускакал в Москву, а затем и далее, проинспектировать подведомственные ему армейские части и военные учебные заведения, если вдруг императору захочется их посетить.

Ждал, потому что нежно любил Елену, красавицу и необыкновенную умницу, любил с ее первого приезда в Россию, когда она, шестнадцатилетняя принцесса Вюртембергская Фридерика Шарлотта Мария, стала невестой Михаила. Сам Николай к тому времени был уже семь лет как женат на принцессе Прусской Шарлотте Каролине, в православии принявшей имя Александры Федоровны, и имел сына Александра и дочерей Марию и Ольгу. Но, увидев будущую невестку, ощутил жутко болезненный укол в сердце и с удивлением понял, что это – укол зависти и ревности. Он уважал свою жену, исправно исполнял супружеский долг и даже привычно откликался на ее, в общем-то, традиционные ласки. Понимал, что положение обязывает следовать завету бабки Екатерины Великой – Романовым жениться на принцессах и выходить замуж за принцев исключительно немецкой крови, ибо это гарантирует хорошую наследственность и прочность семьи, а следовательно – незыблемость императорского дома.

Всего лишь через два с половиной года, в декабре 1825-го, Николай убедился, что бабка была абсолютно права. Единственный случай нарушения этого правила – развод великого князя Константина Павловича с женой, бывшей герцогиней Саксен-Кобургской Юлианой (в православии Анной Федоровной), и женитьба на польке Иоанне Грудзинской, вдове князя Ловича, лишил его права на престол и едва не привел к крушению империи. Во всяком случае, потряс до основания все российское общество.

Но тогда, весной 23-го, он готов был рвать и метать, что не может бросить все и бежать с юной принцессой на край света, хотя бы в ту же Америку, где, как он слышал, все равны и можно жениться без счета и на ком угодно. Тем более ему стало обидно за свою несвободу, когда Фридерика ответила на его чувства. Подтянутый мечтатель-инженер в военном мундире оказался гораздо ближе ее возвышенной душе, нежели с головой погруженный в грубую армейскую жизнь шеф лейб-гвардии Московского полка. Впрочем, Михаил не был лишен остроумия (его словечки и шутки частенько гуляли по обеим столицам, и не только среди военных), а порою проявлял и широту благородной натуры.

Однако пресловутая немецкая законопослушность заставила ее отвергнуть романтическое предложение Николая. В то же время принцесса не отвергла его самого, и они стали тайно встречаться. Результатом этих встреч, как уверяла любовника Елена Павловна, были рожденные за три года подряд три дочери – Мария, Елизавета и Екатерина. Потом страсти несколько

поутихли, встречи стали реже, поскольку обоих вдруг захватили дела. Молодому императору пришлось воевать – то с Персией, то с Турцией, то с польскими мятежниками, а великая княгиня увлеклась общественно-полезными занятиями, среди которых на первом месте был литературно-политический салон, регулярно сотрясаемый спорами о судьбе России, а из прочих – поддержка науки, медицины, искусства. И следующие две дочери появились уже после четырехгодичного перерыва и с разницей в три года – как бы плоды размеренной семейной жизни. Появились – и умерли: Саша в годовалом возрасте, а Аннушка в год и пять месяцев. Явно были отпрысками Михаила, который, будучи внешне весьма крепким, на самом деле легко подвергался различным болезням. Правда, Лизанька и Машенька тоже ушли рано, не дожив до двадцати, но у одной, меньше года прожившей в браке с герцогом Нассауским, причиной стали тяжелейшие роды, а у другой – скоротечная чахотка. Бедной Елене Павловне, не успевшей снять траур по Лизе, пришлось скорбеть по Маше.

Николай Павлович, сам три года как потерявший дочь Александру (муж-дурак, ландграф Гессен-Кассельский, не уберег: на седьмом месяце беременности повез жену кататься, и коляска опрокинулась), тихо, стиснув зубы, печалился об утрате девочек – все были красавицы и умницы, только бы жить да радоваться...

– Здравствуй, Николая! – тихо сказала Елена Павловна, переступив порог и припав к широкой груди императора. В кабинете было жарко, мундир Николая расстегнут, ворот белой шелковой рубашки распахнут.

Он обнял ее, поцеловал в лоб и бережно проводил к креслу. Усадил, опустился на пол и, как когда-то давно, в пору их первых встреч, положил голову ей на колени. Он помнил, что она любила запускать пальцы в его густые волнистые волосы и ласково перебирать их. И она не забыла: пригладила разметавшиеся пряди, выделила одну:

– Вот уже и волосы седые, а ты все такой же.

– Ну, не совсем... Четырежды дед – что-нибудь да значит.

– Это не твоя заслуга, а цесаревича, – откликнулась Елена Павловна.

Он по интонации понял, что она улыбается, промолчал, устраивая голову поудобней, поерзал щекой по черному атласу траурного платья. Она наклонилась и поцеловала его в висок.

Тихо потрескивая, горели свечи в бронзовых шандалах на рабочем столе, заваленном бумагами. В раскрытое окно заглядывал ангел с высоты монферрановского Александрийского столпа. Грустная нежность невидимым облачком окутывала слившиеся фигуры мужчины и женщины, растворяла все желания, кроме одного – чтобы это единение длилось вечно.

Неожиданно громко в устоявшейся тишине захлопали крылья, и на подоконник плюхнулась взъерошенная сорока. Быстро оглядевшись по сторонам, перепрыгнула на стол, туда, где на краю стояла пустая чайная чашка на блюде, а рядом лежала серебряная ложечка. Сорока схватила клювом блестящую вещицу, и сильные крылья мгновенно унесли ее в сизые сумерки августовской ночи.

– Вот воровка, – беззлобно сказал Николай Павлович и поднял голову. – А так было хорошо!

Он легко для своих лет – пятьдесят один год; ни дед, ни отец, ни старший брат столько не прожили – поднялся с пола, прошелся по кабинету, разминая суставы и остановился у стола, окидывая взглядом груды бумаг. Оглянулся через плечо на гостью, которая осталась сидеть, уронив руки на колени:

– Извини, дорогая, что я вот так... пасторально... Голова распухла – не могу решить, кого в Восточную Сибирь назначить...

Елена Павловна улыбнулась:

– Если позволишь, есть у меня кого подсказать... – У нее и через двадцать с лишним лет жизни в России проскальзывали неправильности речи. – Ты должен его помнить... Николай Николаевич Муравьев, тот, который был моим камер-пажем...

– А теперь он – генерал! И ты до сих пор ему покровительствуешь!

– Николя, поверь, я немного разбираюсь в людях и политике. Я думаю, Муравьев – тот, кто тебе нужен на этот пост.

От волнения она раскраснелась и стала еще красивей. Император почувствовал, как в нем разгорается желание. Тряхнул головой:

– Уговорила!

Он шагнул к креслу. Елена Павловна протянула руки навстречу...

3

Николай Николаевич догнал императорский поезд лишь на третьей от Тулы почтовой станции, Сергиевской. Здесь рядом со станцией находился постоялый двор с хорошими комнатами для отдыха проезжающих. Генерала к императору с ходу не пустили – Николай Павлович изволил почивать, – поэтому он остался прогуливаться около гостиницы, а Вагранов с кучером, на случай скорого отъезда, отвели тройку, запряженную в коляску, поближе к выезду из обширного конного двора, заставленного сейчас экипажами.

Розовое ото сна солнце вставало над недалеким лесом. По двору сновали люди – одни с дорожными сумками и ящиками в гостиницу и обратно к повозкам, другие с корзинами и коробками в трактир, занимавший пристройку к гостинице. Видимо, срочно готовился завтрак. Двери трактирной кухни были распахнуты, и наружу изливались тревожащие желудок запахи.

Вагранов раскрыл вместительный саквояж, заполненный снедью на дорогу, вручил кучеру солидный кусок жареной курицы и ломоть хлеба, расстелил на облучке льняную скатерку, выставил бутылку французского вина и два стакана толстого стекла, разложил пирожки с разной начинкой, ту же курицу, огурчики малосольные и позвал губернатора:

– Николай Николаевич, пожалуйста откусать.

Муравьев подошел, глянул на походный стол и махнул рукой:

– Кусок в горло не полезет. А вы ешьте, ешьте...

И снова отправился мерять шагами ширину гостиницы – от угла до угла.

Недолгое время спустя на крыльце показался Перовский – в министерском сюртуке, но без треуголки, простоволосый. Широко зевнул, перекрестив рот, увидел идущего от угла к крыльцу Муравьева и легко сбежал навстречу:

– Николай Николаевич, а мы вас ждем. Государь уже на ногах.

– А я давно... – растерянно сказал Муравьев и даже пошатнулся от облившей сердце дурноты: надо же, императора заставил ждать!

Лев Алексеевич дружески взял его за плечи обеими руками:

– Ну-ну, дорогой, не надо так тушеваться. Вы же боевой генерал! Здравствуйте!

– Здравствуйте, Лев Алексеевич, – сипло сказал Муравьев и откашлялся.

– Ну, идемте, идемте, а то и вправду запоздаем...

4

Николай Павлович стоял посреди комнаты, покачиваясь с носков на пятки и улыбаясь. Он как заснул, так и проснулся в прекрасном настроении, снова и снова вспоминая минуты, проведенные с Еленой. Еленой Прекрасной. Поистине дочерью Зевса и Леды. Он, как Парис, похитил ее у Менелая-Михаила, но Троянской войны не будет. При дворе все тайное очень быстро становится явным, словно стены дворцов имеют глаза и уши, поэтому брат, наверное, знает о «похищении», но мирится с этим и, похоже, даже не обращает внимания. С юных лет у Михаила была одна непреходящая любовь – армия, он круглые сутки жил ее заботами и сильно

раздражался, когда его отвлекали от обустройства крепостей и учреждения кадетских корпусов, создания новых видов артиллерии и стрелкового оружия, организации гальванических и военно-телеграфных команд и от многих-многих других весьма важных дел. А жена и дети как раз и относились к отвлекающим моментам. Поэтому Николай Павлович не испытывал перед братом ни малейших угрызений совести по поводу своих отношений с Еленой и лишь безусловно поддерживал все его армейские нововведения. Они и вправду были чрезвычайно полезны и своевременны.

Всю дорогу император предавался улаждающим сердце воспоминаниям и лишь время от времени разговаривал с Перовским о сугубо внутренних российских делах. И при этом против обыкновения совсем не раздражался, удивляя многоопытного царедворца покладистостью и благодушием, подкручивал усы и улыбался в самые неподходящие, по мнению министра, моменты разговора. Улыбка придавала его остро очерченному лицу мечтательное выражение, он об этом, конечно, знал, но не расстался с ней, даже увидев входящих.

Муравьев отдал честь, шелкнув каблуками, левой рукой снял треуголку, оставив ее на сгибе руки, вытянулся.

– Губернатор Тулы генерал-майор Муравьев явился, ваше императорское величество!

Николай Павлович с высоты своего лейб-гвардейского роста несколько секунд молча разглядывал затянутую в темно-зеленый мундир узкоплечую фигуру: мелковат генерал. Посуровел лицом и не удивился, заметив плеснувшийся в глазах губернатора испуг: он привык к тому, что его малейшее неудовольствие вызывает неподдельный страх у верноподданных; иногда даже пугал намеренно – это его забавляло.

– Здравствуй, Муравьев, – наконец произнес император. – Вчера, пятого сентября, я подписал приказ о твоём назначении генерал-губернатором Восточной Сибири. Поздравляю! – и протянул руку.

Муравьева обдало жаром. Он знал о борьбе вокруг вакантного места, втайне мечтал занять этот пост, но, если честно, не питал никакой надежды: уж слишком мал был его опыт администратора даже в маленькой Тульской губернии, а Восточная Сибирь – это же половина Российской империи! И вот он – он, генерал-майор Николай Муравьев – внезапно становится ее полновластным хозяином!

Муравьев готов был упасть на колени, но в последнюю секунду удержался, свободной правой рукой подхватил вялую кисть руки своего великого благодетеля и поцеловал.

– Благодарю, ваше императорское величество! – преодолевая комок в горле, выдохнул Муравьев. На глаза от полноты чувств навернулись слезы. – Ваше благоволение ко мне безгранично. Хватит ли у меня сил ему соответствовать?!

Николай Павлович взял генерала за подбородок, заглянул в глаза, раздраженно подивился их влажности (надо же, сколь чувствительна натура военного человека!), но вспомнил Елену, и голос его потеплел:

– Надеюсь... Знаешь, Муравьев, я слежу за твоими успехами с первого ордена. Да вот он, за отличие при взятии Шумлы, – император тронул приказательным пальцем звезду Святой Анны III степени с бантом. – Помню, великая княгиня Елена Павловна испросила разрешения вручить его тебе. Полюбился ты ей еще с Пажеского корпуса...

– Ее императорское высочество я чту как родную мать, чьей ласки лишился с десяти лет...

– Да-а, орденов у тебя поболее, нежели у меня. – Занятый своими мыслями, Николай Павлович пропустил слова Муравьева мимо ушей, и тот, поняв это, затаил дыхание, ожидая продолжения. – Ты хорошо послужил на воинском поприще и в гражданском управлении успел показаться. – Он легонько тронул генерала за плечо, приглашая пройти по комнате. Была у него такая привычка – разговаривать, расхаживая туда-сюда. – Читал я твой отчет по губернии и записку об отмене крепостного права – то и другое недурственно, продумано до мело-

чей. По отчету я дал надлежащие приказания: о ветхости тюремных замков – графу Клейнмихелю, об уничтожении лесов – вот, Льву Алексеевичу, – император кивнул в сторону стоявшего недвижно у дверей Перовского. – О развитии торговли и сельского хозяйства – думаю, решится обычным порядком. А вот отмена крепостного права... – он задумчиво покрутил пальцами. – Брат мой царственный, Александр Благословенный, думал об этом, Перовский вон недавно подал доклад об уничтожении крепостного состояния, да такой обстоятельный, что пришлось для обсуждения специальный комитет создавать. Но из губернаторов ты – первый, кто не побоялся обратиться к императору со столь радикальными предложениями. Как там у тебя? – Николай Павлович снова покрутил пальцами и обернулся к Перовскому: – Напомни, Лев Алексеевич.

– Цель преобразований – избежать в России государственных переворотов, пролития рек крови и ужаса безначалия, – сказал от порога Лев Алексеевич. – Следует не допустить распространения нищеты и появления пролетариев, для чего необходимо превратить всех граждан России в собственников земли, что даст им возможность участвовать в государственном управлении...

– Лихо! – жестом остановив министра, усмехнулся император. – Перовского перещеголял. Впору новый комитет создавать. – И сразу посерьезнел. – Однако десяток тульских помещиков, согласных с тобой, – это еще не Россия. Они-то готовы к такой дерзости, а остальные? Боятся или просто не желают рушить сложившийся порядок? Мне нравится все, что изложено в записке, но не могу я Россию ломать через колено. Прапрадед Петр Великий – тот ломал, только после его новаций сто лет отдышаться не могли. Поэтому – подождем! Теперь же поезжай в Петербург, принимай дела сибирские, а я вернусь – дам тебе подробные наставления. Пока же скажу: там настоящие Авгиевы конюшни – что в золотопромышленности, что в торговле с Китаем, с которым надобно держать ухо востро... Особо – в отношении реки Амур. О нем еще бабка моя Екатерина говорила как о великой русской реке, без которой России на Тихом океане не встать. И губернаторы сибирские озабочивались, тот же Мятлев... Но с Амуром все обстоит непросто, слишком многое против... Ладно, им займемся позже, если вообще займемся, а пока будь осторожен. – Николай Павлович остановился, повернулся к Муравьеву всем корпусом, как-то по-особому доверительно тронул генерала за плечо. – Прощай! Да не обижайся, что не остановился в Туле, я и Воронеж проскочу. Зачем останавливаться там, где порядок? А праздничать некогда.

Муравьев склонил голову, четко развернулся и направился к выходу, но, встретившись глазами с Перовским, понял: этим дело не кончится. И верно: не успел дойти до порога, как его вновь настиг голос императора:

– А у тебя что, нет ко мне никаких просьб?

Муравьев уловил чуть заметный кивок министра и развернулся через левое плечо:

– Есть, ваше императорское величество.

– Излагай.

– За время исполнения мною должности губернатора я неоднократно направлял прошения об удалении от дела людей, наносящих вред оному, и, напротив, о награждении отличившихся, как то случилось на пожаре этим летом, когда мог погибнуть в пламени весь город, однако же, благодаря самозабвенным усилиям пожарных команд, сгорел в центре лишь один дом с усадебными постройками...

– И что же? – нетерпеливо прервал император.

– Ничего, ваше императорское величество! Все мои представления будто в воду канули. Поэтому прошу вашего вмешательства.

Николай Павлович перевел взгляд на Перовского. Тот встрепнулся:

– Министерство направило ходатайства по инстанции, государь. Но, видимо, нашлись противодействующие силы...

– Хорошо. Напомни, Лев Алексеевич, мне по возвращении. Негоже обходить наградами достойных и оставлять без внимания злодеяния. А ты, Муравьев, будь настойчивей в своих представлениях. Для себя ничего не просишь?

Муравьев лишь отрицательно мотнул головой, успев заметить удивление в глазах императора. – Ладно, если больше ничего нет, ступай с Богом!

Глава 5

1

– Катенька! Катенька! – Как есть в мундире и при сабле Муравьев пробежал по комнатам своего дома и остановился в дверях спальни.

Екатерина Николаевна готовилась ко сну. В своем любимом розовом пеньюаре она сидела на мягком пуфике перед туалетным столиком, отражаясь в зеркалах трельяжа, и расчесывала густые, цвета спелого каштанового ореха волосы. На счастливый зов мужа обернулась, с улыбкой потянулась навстречу:

– Все хорошо, Николя?

– Лучше и быть не может! – Он подхватил жену с пуфика, закружил по свободной части спальни под «тра-ля-ля» на манер вошедшего в моду венского вальса Иоганна Штрауса, но вдруг лицо его исказилось, он отпустил Катрин и схватился за правую руку, баюкая проснувшуюся боль. – Прости, дорогая, я сейчас... сейчас...

– Николя, нельзя же так! Ваша рана...

– Да что там какая-то старая рана! – ободряюще улыбнулся он. – Ты и представить не можешь, как меня обласкал и осчастливил император! Какое оказал доверие!..

Екатерина Николаевна всплеснула руками, отчего пеньюар широко распахнулся, явив глазам мужа еще не завязанный шелковыми тесемками глубокий разрез ворота ночной рубашки, из которого вдруг выпорхнула маленькая крепкая грудка. У Муравьева закружилась голова, но Катрин ничего не заметила, тормоша окаменевшего мужа:

– Ну, говорите же, говорите скорее...

Николай Николаевич провел рукой по лицу, снимая внезапно накотившее оцепенение:

– Катенька, я получил новое назначение... – Запнулся, покрутил головой. – Нет, до сих пор поверить не могу!.. – Глубоко вздохнул и выпалил: – Я назначен генерал-губернатором Восточной Сибири... – Увидев непонимание в глазах жены, добавил уже спокойнее: – Это российские земли от Енисея до Великого океана. Половина империи! Да что там половина – целая империя! Представляешь?!

– Сибирь! – Его до глубины души изумила интонация, с которой любимая жена, очаровательная Катрин произнесла это слово: в ней смешались ужас, отчаяние и неожиданная горечь. Только что сиявшие глаза потухли, губы задрожали, руки упали бессильно. – Вас отправляют в Сибирь?! Туда, где каторга хуже тулонской?!

Муравьев вдруг рассердился:

– Ну, знаешь! Меня не на каторгу посылают, а на огромную самостоятельную службу! Многие о таком и мечтать не смеют... Думаю, немного позже ты поймешь и оценишь...

Он сделал лишь один шаг к двери, намереваясь выйти, как тут же обернулся и едва успел подхватить скользнувшее на пол тело. Обморок!

– Катенька, милая!.. – преодолевая боль в покалеченной руке, Николай Николаевич поднял жену и уложил ее на кровать.

На маленьком комодике с той стороны, где спала Екатерина Николаевна, всегда ставился стакан с водой – на случай, если ночью вдруг захочется пить. Муравьев набрал в рот воды и брызнул на побледневшее лицо, обрамленное рассыпавшимися волосами. Потом принялся растирать ее кисти и пальцы.

Екатерина Николаевна вздрогнула, открыла глаза и отстранила его руки.

– Простите меня. Это от неожиданности. – Бесцветный поначалу голос приобрел саркастический оттенок. – У себя во Франции я ведь тоже не смела мечтать о Сибири. Извините, мой друг, мне надо прийти в себя от столь потрясающей радости. Оставьте меня.

2

В эту ночь ей приснился странный и удивительно подробный сон, в котором переплелись картины прошлого и, наверное, будущего.

По снежной равнине под пронзительно голубой луной несутся три собачьи упряжки, легко влекущие высокие, длинные сани. Катрин прежде никогда их не видела, даже на книжных рисунках, но почему-то знает, что именно на таких ездят люди на Севере, и знает, что они называются нарты, а собаками управляет каюр. На передних нартах, кроме каюра, сидят люди с факелами, а у собак на шее непрерывно звенят колокольчики. Обычно собакам их не привязывали, но тут случай был особый: где-то на тракте пропали генерал-губернатор с женой и порученцем (это мы пропали! – ужаснулась во сне Катрин), метель замела следы, и колокольчики дают добавочную надежду – авось, кто-то из них услышит звон и подаст знак.

Колокольчики звенят все настойчивей, и картина вдруг мгновенно меняется.

Катрин видит себя и Муравьева в Париже. Королевский шут в лоскутном красно-белом костюме и таком же колпаке с висящими красными языками отворотов, на кончиках которых пришиты маленькие бубенчики, прыгает и кривляется на площади перед собором Нотр-Дам, уже прославленным на весь мир поэтом Виктором Гюго. Катрин не знает, что именно изображает шут, но подумала: может быть, страдания Квазимодо? – и говорит об этом Муравьеву.

– Кто это? – скучным, как ей показалось, голосом спрашивает генерал.

Ее немного коробит и обижает столь равнодушное невежество. Если даже знаменитая книга еще не переведена на русский язык, все равно, он мог бы прочитать ее в оригинале.

– Месье Муравьев, Квазимодо – это герой великого романа Виктора Гюго, великого французского поэта и драматурга, – намеренно высокопарно, чтобы уколоть его самолюбие, говорит она. И даже называет нового русского друга по фамилии, хотя началась уже вторая неделя, как они перешли просто на имена, как и водится между близкими людьми.

– Простите меня, Катрин, – неожиданно смущенно откликается Муравьев, – я человек сугубо военный, последние семь лет воевал на Кавказе, и мне просто было не до высокого искусства. Я даже из наших великих никого не читал – ни Пушкина, ни Марлинского. Только кое-что из Державина, и то в юности... В театре смотрел комедию Гоголя «Ревизор», по-моему, очень смелая пьеса! Да вот еще: поручик Лермонтов недавно был убит на дуэли, говорят – замечательный поэт, а я с ним служил на Кавказе и тоже не знал...

Его простодушное покаяние настолько искренне, что Катрин становится стыдно за свое высокомерие, тем более что ей самой совершенно незнакомы названные Муравьевым фамилии. Неужели в далекой дикой России есть писатели и поэты, талантом равные Гюго, Бальзаку, Дюма, Жорж Санд?! Впрочем, не такая уж она и дикая: Катрин вспомнила, как отец, участвовавший в Великом походе Наполеона, отзывался о русских в высшей степени уважительно. И еще: лет восемь назад – она была совсем девочкой – газеты писали, что сын дипломата барона Геккерн убил на дуэли русского поэта, публично оскорбившего его. Кажется, поэта звали Пушкин. Я просто ничего о них не знаю, думает она, и спешит исправить свою бестактность:

– Если позволите, Николя, пока вы будете нашим гостем, я постараюсь восполнить пробелы в вашем знании современной французской литературы. – Он наклоняет голову в знак согласия. – Но, когда я приеду в гости к вам, вы познакомьте меня с вашими великими... как вы их назвали?

– Пушкин, Гоголь, Марлинский... – Он запинаясь, неуверенно продолжает: – Державин, Лермонтов, Крылов... Дорогая Катрин, да ради вашего приезда я перечитаю всю русскую литературу! – Муравьев хватается ее руку и целует тонкие пальцы.

– Вот и договорились! – смеется она.

Шут подбегает к ним и прыгает вокруг, бубенчики на его шапке звенят громко-громко, и картина рассыпается на крохотные кусочки, а потом эти кусочки соединяются в новую картину.

Катрин лежит в большом сугробе, вся засыпанная снегом. Она слышит звон, опирается на локоть, потом на другую руку, встает на четвереньки и, наконец, поднимается на колени. Увидев набегающие издали пляшущие огни факелов, пытается крикнуть: «Мы здесь». Но не слышит не то что голоса, даже собственного дыхания. Хочет встать – не ощущает ног. С обеих сторон от нее возвышаются два снежных холмика. Каким-то седьмым чувством она догадывается, что это такое, и начинает разгребать снег. «Вот они!» – раздается радостный крик, и лающая гурьба собак окружает ее...

Укутанная с головой в медвежью шубу, быстро согревшись, она во сне засыпает снова под скрипучее покачивание нарт, короткие взлаивания подгоняемых упряжных собак и певуче-унылое бормотание каюра. И снится ей (надо же – сон во сне! – думает Катрин) оружейная лавка, в которую завлек ее Муравьев после осмотра Нотр-Дам. Ему хотелось познакомиться с европейскими новинками стрелкового оружия, в первую очередь с многозарядными револьверами «лефоше», о которых он недавно прочитал в газете. Хозяин лавки, высокий поджарый гасконец средних лет, по выговору признав в Катрин землячку, готов выложить на прилавок все раритеты и новинки, даже бывшие в единственном экземпляре. На вопрос Муравьева о револьверах «лефоше» он закатывает глаза и разражается целой речью, восхваляющей достоинства как самого оружейника, так и его творения.

– Месье, я знаю все стрелковое оружие мира, – торжественно заявляет хозяин, – все пистолеты и револьверы прошли через мои руки, и могу поклясться всеми святыми Ватикана, это сегодня самый лучший револьвер! Но, – тут он заговорщически понижает голос, – мастерская Лефоше выпустила пока что опытную партию, всего сто штук, и есть определенный риск...

– У вас есть тир? – перебивает уставший от разглагольствований Муравьев.

– Тир?

– Да, тир. Помещение, где можно стрелять в цель и проверить оружие.

В лавке есть тир, сразу под ней, в полуподвале, куда Муравьев и Катрин вслед за гасконцем спускаются по винтовой железной лестнице. Он оборудован выше всяких похвал – это становится понятно, когда хозяин зажигает газовые фонари и показывает, как просто с помощью легкого рычага можно менять мишени. Потом гасконец выкладывает из железного шкафа на низкий столик в углу несколько револьверов – они чертовски красивы! – и коробку с патронами, показывает, как заряжать и взводить курок.

– А теперь – вуаля! – восклицает он и одну за другой всаживает шесть пуль в мишень. Кучно, в самый центр.

Нажав на рычаг, гасконец меняет мишень, быстро перезаряжает револьвер и с полупоклоном протягивает Катрин:

– Прошу, мадемуазель.

Катрин вопросительно глядит на своего русского спутника, тот кивает:

– Пробуйте, Катрин. В жизни все может пригодиться.

– А вы?

– А себе я снаряжу другой.

Они расстреливают целую коробку патронов, сменив несколько мишеней. Муравьев очень доволен успехами Катрин и самим оружием. Он покупает два револьвера и несколько коробок патронов, пояснив, что в России их достать будет негде.

Выходя из тира, Катрин машинально оглядывается на мишень и вдруг видит вместо черно-белых кругов жуткую волчью морду с оскаленными клыками. Желтые глаза зверя встречаются с человеческими, кроваво вспыхивают, и волк прыгает из мишени прямо на нее. Она вскрикивает, отпрянув, и... просыпается.

Но просыпается, по-прежнему оставаясь во сне, потому что чувствует, что ее куда-то несут. В меховых наворотах шубы оставлено небольшое отверстие для дыхания; его мохнатые края заиндевели, и каждый волосок радужно переливается в розовом свете расцветающего утра. Сквозь прозрачные облачка пара изо рта Екатерина Николаевна (уже не Катрин!) видит над головой проплывающее днище снежного намета на краю крыши. Ей кажется, что она под водой, а над ней проходит большая пузатая лодка или даже корабль. Прямо в шубе, не разворачивая, ее вносят на руках в покои гостевого дома...

3

На этом сложный, многослойный сон прервался. Екатерина Николаевна открыла глаза – за окном, прикрытым кисейной занавесью, бледно голубел рассвет. Мужа рядом с ней не было. Подушка не примята, значит, не ложился. Устроился, наверное, в гостиной на оттоманке, по-своему поняв ее слова о том, что ей хочется побыть одной. Так ему и надо, злорадно подумала она, пусть помучается, осознав, каким «счастьем» одарил его государь. Она вот возьмет и уедет обратно во Францию... под родительское крыло... и никто ее не остановит! Будет знать!..

Но тут ей вспомнились длиннейшие письма, приходившие в По из далекой России целых полтора года каждые десять дней. Написанные хорошим литературным языком (Николя, надо отметить, отлично владел пером), они подробно освещали жизнь генерала, уже переведенного в распоряжение министерства внутренних дел, с оставлением по армии. Катрин не поняла, что это значит, но Николя объяснил: так принято в России, чтобы военный человек, став гражданским администратором, мог получать повышение в чинах армейских. И добавлял, что чести и славы, по его мнению, можно добиться только на военном поприще, однако офицерское жалование более чем скромно, поэтому с некоторых пор он с нетерпением ждет солидного назначения по министерству внутренних дел, которое позволило бы содержать семью, если, конечно, несравненная Катрин окажет ему честь своим согласием стать его супругой.

Катрин читала письма вслух родителям. Муравьев им понравился еще по его кратковременному пребыванию в замке Ришмон д'Адур после встречи с их дочерью в Ахене. Анри Дюбуа, племянника и несостоявшегося зятя, они уже оплакали, забота о будущем своей ненаглядной «инфанти» занимала все их мысли (в По и его окрестностях не просматривалось ни одной достойной партии), посему появление в доме молодого, с явно героическим прошлым, русского генерала было воспринято с нескрываемой благосклонностью. И возраст его, по мнению старого де Ришмона, был очень даже подходящим: тридцать шесть лет, ровно на восемнадцать старше Катрин, что, несомненно, сулило счастливую семейную жизнь, ибо у супругов де Ришмон была такая же разница в возрасте и они не могли на что-либо пожаловаться. А когда Муравьев известил семейство о назначении на пост тульского губернатора и попросил у родителей руку дочери, они дружно поплакали (правда, больше от радости, как полагала Катрин) и быстро снарядили ее в дальнюю дорогу.

Екатерина Николаевна с улыбкой вспомнила, как удивились и обрадовались ее приезду в Петербург младшие брат и сестра Николя. Двадцатисемилетний Александр, новоиспеченный чиновник Казенной палаты, и тридцатилетняя Екатерина, супруга генерал-лейтенанта фон Моллера, в доме которого и состоялась историческая, как, усмехаясь, говорила Катрин, встреча ее с семейством Муравьевых. Потом сослуживец Николя по Кавказу капитан Зарин сопровождал невесту в Богородицк, городок Тульской губернии, в имение еще одного Муравьева, тоже генерала, где ее ожидал fiancé. Жених, улыбнулась Катрин, забавно звучит по-русски. Как

выяснилось позже, своего имени у него не было, а губернаторский дом в Туле находился в состоянии подготовки к приему хозяев. Поэтому Николя с благодарностью принял предложение двоюродного дяди Михаила Николаевича погостить у него, а заодно там и свадьбу справить.

Путешествие в кибитке по глубоким снегам декабрьской России в обществе медлительно-рассудительного, но умнейшего человека и галантного кавалера, каким оказался капитан, было поистине восхитительным. Владимир Николаевич, с первых минут знакомства очарованный юной француженкой, не давал ей скучать ни минуты. Он прекрасно знал Россию, ее историю, умел преподнести все в лучшем виде, не скрывая при этом ущербных сторон и приключенческих эпизодов, а уж о Кавказской войне мог рассказывать часами. В свою очередь Катрин, как могла, знакомила его с жизнью Гаскони, Франции, Европы, где Зарину не довелось побывать, и он показал себя чрезвычайно благодарным слушателем.

Потом было крещение по православному обряду в богородицкой церкви, и Катрин стала Екатериной Николаевной. Отчество ей дали в честь Николая Чудотворца, чей день в святцах был самым близким к дню крещения. А вместе имя-отчество получилось в честь рано умершей матушки Николя, первой жены его отца. Венчание же и свадьбу отложили на январь, потому что 28 ноября начался православный сорокадневный Рождественский пост, во время которого, по словам Иоанна Златоуста, требуется «укрощение похотей», а значит, не допускаются свадебные обряды. К тому же новому губернатору следовало срочно обревизовать как можно больше уездов до конца декабря, с тем чтобы в годовом отчете министру показать достаточное знание губернских достоинств и недостатков.

Только к 19 января Николай Николаевич выкроил время на совершение венчания в той же церкви. Свадьбу сыграли в узком кругу родственников и друзей, среди которых кроме Зарина были поручик-артиллерист Вилькен и некто Рудич, которого губернатор прочил на место каширского городничего. А на следующий день после обеда Николя опять помчался по губернии, стремясь во все вникнуть сам, с той степенью тщательности, после которой, как он говаривал, не стыдно любому сказать: «Я это дело знаю».

Дела... дела... Дела у него всегда будут на первом месте, а молодая жена хоть помирай от скуки! Екатерина Николаевна сладко потянулась и уронила руки на атласное одеяло. Она прекрасно понимала, что несправедлива к мужу, который самозабвенно любит ее и если старается преуспеть в занимаемой должности, то это и для нее тоже, но ведь так приятно иногда бывает представляться самой себе обиженной, ущемленной, может быть, даже коварно обманутой, чтобы от души пожалеть себя и... успокоиться. Вот и вчера... Услышав о Сибири, она ужаснулась и не удержалась от сарказма. Ну, действительно, чему там радоваться? А еще этот глупый обморок! Сплошное унижение! Нет, она поступила совершенно правильно, отлучив мужа от себя хотя бы на одну ночь. Для него нет страшнее наказания! Катрин вспомнила их первую ночь, еще в гостинице, в Париже, по пути из Ахена в По, – как Николя смущался и боялся прикоснуться к ней, лежал рядом, затаив дыхание, руки чуть было не по швам. Номера их были по соседству, и она, уже несколько дней всем своим существом воспринимавшая горячие волны желания, идущие от Николя, ближе к полуночи пришла к нему. Дверь его была не заперта, из-за новолуния в спальне стояла непроглядная темнота, но она знала, где расположена кровать, и подошла вплотную к ней. И вдруг он обхватил ее колени, прикрытые ночной рубашкой, на секунду прижался к ним лицом, а потом увлек на постель. Катрин ждала столь же решительного продолжения, но Николя неожиданно испугался – то ли ее, то ли себя самого, – убрал руки и лежал, не смея глубоко вздохнуть. Она хотела обидеться и рассердиться, но поняла вдруг, что вся его робость – от безграничного обожания ее, Катрин, от опасения обидеть неловким движением и еще, наверное, от отсутствия достаточного опыта обладания женщиной, что в его возрасте довольно странно, но вполне возможно, учитывая рыцарский характер и образ жизни, который ему довелось вести в течение двадцати лет. И, осознав это сразу, по-женски –

без обдумывания, всем существом, – сама нежно прильнула к нему, зашептала ласковые слова, ослабила его внутреннее напряжение, помогла снять нелепую длинную ночную рубашу и сбросила столь же нелепую свою, и возбудила его до такой степени, что восхищенно удивлялась и обмирала от наслаждения всю оставшуюся ночь.

Потом, уже в замужестве, она ему скажет про ночную одежду: «Милый, в одной постели мы больше никогда не будем надевать эти пошлые тряпки», и он радостно согласится; правда, обнажаться перед ним при свете она почему-то не захочет. Ему даже не придет в голову настаивать, и он никогда не узнает, что это ее нежелание – дань памяти об Анри.

«А как же сон? – вдруг вспомнила Екатерина Николаевна. – Эти сугробы, нарты... Ведь если бы я не встала, люди с факелами проехали бы мимо, и Никола бы замерз! Это я, я его спасла! Сон показал, что так предначертано! Ему – управлять половиной России, а мне быть рядом, оберегать его и, когда понадобится, спасти. А я-то, дура, засобиралась во Францию!..»

Екатерина Николаевна вскочила и бросилась в гостиную. Никола действительно спал на оттоманке, как был одетый, только сняв мундир и сапоги. Он свернулся калачиком на левом боку, по-детски подложив одну ладонь под щеку, а вторую сунув между колен. Отраженная зеркалом расцветающая заря превратила его мягкие волнистые волосы в литые завитки червонного золота. Золотились и усы, и не спрятанная подушкой бакенбарда, а на кончике носа сидел радужный зайчик.

Екатерину Николаевну окатила волна чисто материнской нежности к этому большому мальчику; он показался ей столь открытым и беззащитным, что она опустила перед оттоманкой на колени, протянула руку и хотела коснуться пальцами розовой щеки. Хотела, но не успела. Мгновенным движением руки, которая только что была зажата между коленями, Никола ухватил ее запястье и прижал ладонь к губам. И только после этого открыл глаза – они были очень серьезные.

– Ты подловил меня, – сказала она, не пытаясь вырваться.

– Спасибо, – прошептал он и снова поцеловал ее ладонь.

– За что?

– За то, что стала говорить мне «ты». Это так приятно!

– Ты почему одет и не в постели?

– Потому что ты заснула одетой...

Екатерина Николаевна только сейчас обратила внимание, что была, и верно, в рубашке и пеньюаре.

– Мог бы и раздеть, – намеренно рассердилась она. – Но ты предпочел сбежать!

– Я не сбежал, – очень серьезно сказал он. – Я оберегал твой сон.

– Мы так и будем разговаривать? Нет, вы только подумайте, – всплеснула она руками. – Дом скоро проснется, любимая женщина все еще одетая, а муж ведет светскую беседу, ладошки целует...

Муравьева с оттоманки как ветром сдуло. Здоровой левой рукой он подхватил Катрин и увлек ее в спальню, откуда они вышли только к завтраку.

Глава 6

1

В Лондоне министр иностранных дел Генри Джон Темпл лорд Пальмерстон, худой высокий джентльмен с седой шевелюрой и столь же седыми, что было неудивительно при его более чем шестидесятилетнем возрасте, бакенбардами, стоял, опершись двумя руками о край большого письменного стола, и читал расшифрованное секретное письмо. Оно только что пришло из Петербурга, от личного агента министра. Послание было невелико, но сэр Генри читал его долго. Вернее, долго смотрел в текст, усиленно размышляя над содержанием. Потом позвонил в бронзовый колокольчик.

В кабинет вошел секретарь, седоусый лысоватый человек, весь в черном.

– Николас, повесьте на стену самую большую карту Восточной Азии и пошлите за мистером Остином и мисс Эбер. Они мне нужны немедленно! И передайте мое задание Интеллигенс Сервис: срочно представить данные по русскому генерал-майору Муравьеву, бывшему командиру отделения Черноморской линии. Возьмите письмо, чтобы они не перепутали, а то в России много Муравьевых. Здесь все сказано.

Секретарь молча принял бумагу и вышел. Пальмерстон подошел к большому окну с узорным переплетом. За стеклами сквозь осенние деревья парка проблескивала река, плыли клочья тумана, подкрашенные солнечным светом. На реке дымил двухтрубный пароход. Если не считать пароходов, от которых с недавнего времени становится на Темзе все теснее и дымнее, то ничего в пейзаже не меняется. А ведь за последние семнадцать лет он, Пальмерстон, лидер либералов-вигов, в третий раз занимает этот кабинет. Если на следующих выборах виги опять победят тори, ему по праву должен будет принадлежать кабинет премьер-министра. Но до выборов еще далеко, поэтому надо хорошенько потрудиться сейчас, чтобы у избирателей не было сомнений в том, кому доверить управление Британской империей.

– Карта повешена, сэр, – сообщил за спиной бесцветный голос Николаса. – За мистером Остином и мисс Эбер посланы курьеры. Досье Муравьева у вас на столе.

– Благодарю, Николас. – Министр вернулся за стол, открыл папку, перелистал бумаги и удивленно поднял глаза на секретаря. – Поразительно, как быстро сработали наши чиновники от разведки: за полчаса собрать столько информации о каком-то малоизвестном генерале – это просто фантастика!

– Досье уже было готово, сэр, – по-прежнему бесцветно сказал Николас. – Я тоже удивился, но они объяснили, что ведут досье на всех генералов...

– Самое же поразительное, – усмехнулся министр, – даже не то, что в досье уже отмечено последнее назначение Муравьева, а это ваше удивление, Николас. Я всегда полагал, что эмоции вам не присущи.

– Ничто человеческое мне не чуждо, сэр. Я иногда улыбаюсь и даже смеюсь. Плакать, правда, не приходилось. Если только вдруг вы умрете...

– Я ценю вашу преданность, Николас. Надеюсь, плакать вам еще долго не придется.

– Я тоже на это надеюсь, сэр. – Николас был абсолютно невозмутим. – Я могу идти?

– Да. Как только Остин и Эбер появятся, пусть заходят сразу, без доклада.

– Разумеется, сэр.

Николас вышел. Пальмерстон проводил его смеющимся взглядом и погрузился в изучение содержимого досье.

Львиную долю досье составляла копия так называемого «Формулярного списка о службе и достоинстве генерал-майора Муравьева». Как явствовало из прилагаемого комментария,

подобные «списки» велись в России на всех, кто состоял на военной либо гражданской государственной службе, еще с конца XVIII века. Пальмерстон хмыкнул: да такой «список» – счастливейшая находка для разведки: человек в нем – как на ладони. Должность, происхождение, вероисповедание, семейное и имущественное положение, образование, этапы карьеры, награды и отличия – что еще нужно, чтобы начать «обработку объекта»? Дальше все зависит от таланта и умения разведчика.

В досье отмечались болезненное честолюбие генерала, склонность к выпивке и рукоприкладству, а также весьма стесненное финансовое состояние. Все эти черты (за исключением рукоприкладства) подтверждались, главным образом, строками из писем Муравьева своему брату Валериану: братья нежно любили друг друга и активно переписывались с той поры, как покинули стены Пажеского корпуса, а агенты Интеллидженс Сервис за не столь уж высокую плату широко пользовались услугами не только почтовых работников, но и перлюстраторов Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Интересно, что они докладывали по инстанции, прочитав такие строки: «... На вопрос твой о полученных мною наградах отвечаю, что я до сих пор за 6 серьезных сражений, за 4 месяца непрерывных стычек с неприятелем и самой трудной и деятельной службы ничего не получил, в виду же имеется за все одна награда. И то не чин, который бы мне очень был кстати при продолжении службы и к которому я представлен за 2-е июля и всю службу до сего сражения... Словом, во всей армии нет человека менее меня награжденного, ибо всегдашний товарищ мой в сражениях Рожанович все-таки получил чин, который был ему очень нужен, а все прочие в забытом нашем авангарде менее меня служили...» Да-а, подумал Пальмерстон, я бы за это жестоко обиделся – и на непосредственное начальство, и на высшее командование, которое обязано быть в курсе всего происходящего и, разумеется, должно знать настроения среди офицеров. Но, вернувшись к «Формулярному списку», министр легко вычислил, что Муравьев обижался напрасно: менее чем через три месяца, в марте 1831 года, он получил сразу три награды – орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, золотую шпагу с надписью «За храбрость» и польский знак отличия (*virtuti militari*) за военные достоинства 4-й степени. Так что, думается, честолюбие его с лихвой было удовлетворено. Правда, очередного чина штабс-капитана он удостоился только в декабре следующего года.

О финансовой стесненности свидетельствовал тот факт, что на обустройство нового тульского губернатора министр внутренних дел Лев Перовский выделил Муравьеву из казны пять тысяч рублей серебром, из которых две пошли на возврат долгов, а остальные на покупку и ремонт дома, приобретение лошадей для выезда, мебели и разной домашней мелочи. Имения своего у генерала не было, правда, судя по письмам, намерение приобрести таковое у него появилось примерно через полгода губернаторства. Но не за счет поборов и мздоимства, чем издавна «славилась» российская провинциальная администрация (было время, и Пальмерстон об этом знал, когда цари воеводам жалованье не платили, а просто сажали их в города «на кормление»), нет, молодой губернатор вплоть до женитьбы жестоко экономил на всем в своей более чем скромной жизни. И тут же в досье приводился случай, когда на прием к Муравьеву напросился купец 1-й гильдии Савостин с просьбой разрешить построить на реке Упе, впадающей в Оку, торговую пристань и к просьбе присовокуплял подарок лично губернатору. Муравьев с бранными криками выгнал незадачливого негоцианта и наказал секретарю не пускать его на порог губернского правления. А всем чиновникам пригрозил, что, если кто будет замечен в получении взяток, того он немедленно уволит без права на пенсию, а то и отдаст под суд. Однако, остыв и, видимо, поразмыслив, он оценил предложение по пристани как достойное поддержки и обратился с ходатайством в министерство финансов, но попытку дать взятку так и не простил.

А вот информация о рукоприкладстве датировалась уже тем временем, когда Муравьев стал генералом, командуя отделением Черноморской линии. Рассказал об этом некий поручик

Шамшурин, получивший трепку от командира за то, что оставил крепостное укрепление под натиском мятежных кавказцев. За такой проступок в британской армии могли бы и расстрелять, подумал Пальмерстон, так что поручик легко отделался. Министр усмехнулся: а мятеж-то, наверное, дело рук наших агентов. И если Россия будет продолжать ту же политику на Кавказе, войны с ней не миновать.

В дверях возник подтянутый человек лет тридцати пяти в сером твидовом костюме. Щелкнув каблуками, почтительно, но без тени подобострастия, склонил рыжеволосую голову:

– Сэр?

– Забудьте ваши военные привычки, Остин, – кивнув в ответ, сказал министр. – Настало время вспомнить естественные науки, которые вы изучали в Оксфорде.

Остин бросил быстрый взгляд на карту, повешенную Николасом:

– Китай? Япония?

– Восточная Сибирь.

– Но, насколько мне известно, там уже действует Хилл...

В дверь постучали. Министр поморщился: он не любил, когда отступали от его прямых указаний. Мисс Хелен Эбер должна была войти без стука.

Стук повторился.

– Да, – недовольным голосом сказал сэр Генри.

При появлении мисс Эбер – яркой брюнетки лет двадцати семи с великолепной фигурой, умело подчеркнутой строгим визитным платьем, – Пальмерстон встал, чуть наклонив голову в знак приветствия, подошел к карте и взял указку из специальной подставки. Остин и Эбер, ответившая шефу легким реверансом, на который, впрочем, он не обратил никакого внимания, присоединились к нему. Министр заговорил, иногда подкрепляя свои слова движениями указки по карте:

– Сэмюэл Хилл – это Интеллидженс Сервис, у него своя задача, вы – это специальный отдел Форин Оффиса, и у вас задача иная. Хилл обследует традиционный путь русских к Тихому океану – через Якутск. По этому пути они снабжают Камчатку. Нам надо знать, насколько он эффективен. Вам предстоит проверить кратчайший – по Амуру, где русских нет уже сто пятьдесят лет, и они уверились, что эта река для них бесполезна. А для Англии нет ничего бесполезного. Мы довольно прочно встали на обе ноги в южном Китае, пора шагать на север. Туда нас приведет Амур. И не только туда – он нам откроет Сибирь, над которой со временем должен подняться флаг Британской империи. Воистину великая река! – Последнюю фразу Пальмерстон произнес с таким пафосом, что Остин и Эбер недоуменно переглянулись: подобных эмоций они от шефа не ожидали.

Возникла неловкая пауза, которую прервала мисс Хелен.

– Я так понимаю, мы с Остином прибываем в Сибирь как пара: либо брат с сестрой, либо муж с женой?

– Муж с женой, – сказал Остин. – Вряд ли мы потянем на кровных родственников.

– Да уж, – хмыкнул министр, сравнив их прически.

– А какая будет легенда, сэр?

– Выберите сами. Например, геологи-любители. Энтузиасты, ради изучения неизвестного готовые на все! Места там совершенно неисследованные, у русских секретов нет и препятствий быть не должно. А работы край непочатый на многие годы, поэтому нужна опора – хороший резидент из местных. Может быть, не один. Русские падки на легкие деньги. Но – это к вам относится в первую очередь, мисс Эбер – разбрасываться ими тоже не надо. Не забывайте, что перед налогоплательщиками мы отчитываемся за каждый шиллинг. Вам ясно? – обратился Пальмерстон к даме.

– Да, сэр, – немного обиженно ответила та. – Нам лучше подойдет легенда побирушек. Знаю не понаслышке: в России любят нищих бродяг...

– Если вы будете относиться к моим словам подобным образом, то в будущем я вам обеспечу такой образ жизни, – одними губами улыбнулся сэр Генри. И, смерив уничтожающим взглядом «дерзкую девчонку» (та даже не подумала смутиться, наоборот, с независимым видом вздернула подбородок), он тем не менее продолжил в прежнем духе: – Хилл в Иркутске уже несколько месяцев, стал там почти своим человеком. Согласуете с ним ваши действия. И еще. Если вдруг пересечетесь с французской разведкой, не ставьте ей палки в колеса. У нас с ними есть договоренность. Впрочем, получится аккуратно ущипнуть лягушатников – не возражаю. Вопросы есть?

– Есть, – сказал Остин. – Во-первых, язык. Мой русский оставляет желать много лучшего.

– Вам достаточно того, что есть. Ваша супруга, – сэр Генри слегка склонил голову в сторону Хелен, – при необходимости обеспечит перевод. У нее была хорошая практика на Кавказе.

– Отлично! – с энтузиазмом отозвался Остин. – Тогда, во-вторых: отчего такая срочность?

– Хороший вопрос. Восточная Сибирь – регион особенный. Колоссальная колония России, и прямо под боком метрополии! Но расстояния там тысячекилометровые, население малочисленное, войск фактически нет, флота нет... – Сэр Генри вернулся за стол, жестом пригласил агентов сесть. – Даже нормальной полиции – и то нет! Чтобы успешно управлять подобным хозяйством, нужна очень сильная личность. И такая нашлась. Месяц назад новым наместником царя Николая в Восточной Сибири назначен боевой генерал Николай Муравьев. – При этом имени мисс Эбер чуть-чуть приподняла брови, однако ничего не сказала, но сэр Генри ее гримаску заметил: – Да-да, мисс Эбер, тот самый, против кого вы работали на Кавказе. Он молод, деятелен, честолюбив, тем более что женат на красавице-француженке и хочет выглядеть в ее глазах достойным мужем. – Эту информацию Хелен прокомментировала уже открытой усмешкой, что мужчинам представилось вполне уместным. – Но главное не это. Главное, император Николай в последнее время снова начал интересоваться Амуром. Двести лет назад русские казаки уже осваивали Амур, даже город основали – Албазин. Он выдержал три осады маньчжур. Кстати, у русских был командиром шотландский офицер Бейтон.

– Почему же они ушли?!

– В Москве тогда делили власть, ей было не до Амура. Казакам пришлось уйти, город и крепость были разрушены. Теперь Николай хочет вернуться, чтобы укрепиться на берегах Тихого океана. Русская Америка и Камчатка оторваны от России, сообщение с ними и снабжение крайне затруднены, возвращение Амура позволило бы обеспечить необходимую связь. Так вот, генерал Муравьев способен выполнить эту задачу и создать нам большие проблемы. Значит, ему следует помешать. Всеми возможными способами, вплоть до физического устранения. Но лучше скомпрометировать или подкупить. Хотя последнее вряд ли возможно: к сожалению, в корыстолюбии генерал не замечен.

– А может, не было случая? – улыбнулся Остин. – Вообще, кто он такой?

– За четырнадцать лет прошел от прапорщика до генерала. Участник войн в Турции, Польше, на Кавказе. Имеет ранения, много орденов. Год был губернатором Тулы и сразу – такой взлет. Его поддерживает приближенный к царю министр внутренних дел Перовский.

Пальмерстон остановился, налил в высокий стакан воды из хрустального графина, предложил агентам, но те отказались.

– Не мешало бы и его скомпрометировать, – воспользовалась паузой мисс Эбер. – Куда эффективней бывает убрать с дороги покровителя фигуранта, и тогда тот сам упадет.

– Бывает, бывает... – задумчиво произнес министр и толкнул по столу папку в сторону Остина. – Вот вам досье генерала, изучите его досконально. Завтра получите деньги, документы и – в путь! В Петербурге мой агент предоставит свежую информацию. Действуйте, и да хранят вас Бог и королева.

2

В Париже безраздельно царила золотая осень. Погода стояла солнечная, безветренная, и ярко-желтые, оранжевые, бордовые листья падали с деревьев, спокойно кружась, складывались на темной земле и зеленой траве в фантастические мозаичные орнаменты.

В одном из уютных уголков Люксембургского сада по дорожке прогуливался невысокий широкогрудый мужчина в черном сюртуке и цилиндре. Время от времени толстой тростью с похожим на рукоять кинжала набалдашником из слоновой кости он ловко подхватывал с обочины ворох ярких осенних листьев и наблюдал, как они ложатся обратно, создавая новый узор.

– Господин де Лавалье?

Мужчина оглянулся, приложил два пальца к полям цилиндра, приветствуя молодого человека в черной альмавиве с красным подбоем. Шляпы на нем не было – головной убор ему заменяли густые темно-русые кудри до плеч.

– Я получил вашу записку, месье, – продолжил молодой человек, небрежно кивнув в ответ. – Вы пишете, что можете кое-что сообщить о Катрин де Ришмон. Кто вы и откуда меня знаете?

Лавалье жестом пригласил пройти с ним, не дожидаясь согласия, неторопливо пошел по дорожке. Молодому человеку ничего не оставалось, как следовать за ним и подстраиваться под его шаги.

Столь же неторопливо Лавалье заговорил:

– Я представляю департамент, которому полагается знать все о том, что происходит, а главное, что может произойти в мире, и о людях, которые могут быть полезны Франции...

– Короче, вы из разведки, – перебил молодой человек.

– Вам не откажешь в проницательности, – усмехнулся Лавалье.

– Поэтому наша встреча происходит в обстановке строгой секретности: ни лишних глаз, ни лишних ушей...

Лавалье огляделся: действительно, ближайшие прогуливающиеся одиночки, пары и семейные группы находились от них на расстоянии не менее 100–150 шагов.

– И чем же ваше уважаемое ведомство заинтересовал бывший лейтенант Иностранного легиона?

– Во-первых, вашим возвращением с того света...

– Я вернулся полгода назад и никому не был нужен, кроме своего отца, – снова перебил молодой человек. Он сказал это с горечью. Лавалье не понравилось, что его перебивают, поморщился, но смолчал. – Моя невеста вышла замуж за другого, а ее родители просили меня все забыть и не напоминать ей о себе...

– И вы забыли?

– Вашего департамента и вас лично это не касается! – раздраженно воскликнул бывший офицер.

– Вы ошибаетесь, господин Дюбуа, – сухо сказал Лавалье. – Нас касается все, что связано с интересами Франции. А интересы Франции сегодня могут совпасть с вашими личными. Еще раз спрашиваю: вы забыли свою невесту Катрин и не хотите ее вернуть?

– Не забыл, черт вас побери! – выкрикнул Дюбуа в лицо собеседнику. – Но как ее вернуть?! Как?!!

– В вашем взводе служил русский легионер Вогул...

– Да. Мы вместе попали в плен к мятежникам Абд аль-Кадира и вместе бежали. Но Жорж Вогул после нашего возвращения поехал в Россию навестить родителей и не вернулся.

– Это неважно. Для нас важно то, что вы учились у Вогула русскому языку и преуспели в этом.

– Мне понравился русский, и в плену времени хватало. И вообще, у меня есть способности к языкам. А Вогула я учил французскому и немецкому. В моем взводе были два немца. Они погибли... – Дюбуа нахмурился, вспомнив кровавую мясорубку в песках Алжира, и тут же спохватился: – Но какое это имеет отношение к Катрин де Ришмон?

– Мы предлагаем вам поехать в Россию. Конкретно – в Сибирь, куда вскоре отправится ваша бывшая невеста, ныне жена русского генерала Муравьева, месяц назад назначенного генерал-губернатором Восточной Сибири. Муравьевы, по нашим сведениям, сейчас находятся в Петербурге и пробудут там еще месяца два...

– Я согласен! – не дослушав, воскликнул молодой человек.

– Вы не знаете, какое поручение вам даст наш департамент...

– Я согласен на любое, даже смертельно опасное!

– Это не исключено.

– Мне не привыкать. Лишь бы увидеть Катрин!

– Разумеется, вы ее увидите. И, кто знает, может быть, вернете. Но, если фактически вы согласны с нами сотрудничать, капитан Дюбуа...

– Капитан? – в третий раз перебил молодой человек.

Господи, какое у меня адское терпение, подумал Лавалье, а вслух сказал:

– Да, капитан. По нашему ходатайству вам присваивается это звание. Перейдем к делу.

Глава 7

1

После двадцати четырех дней пути из Тулы в Иркутск, стольный город генерал-губернаторства Восточной Сибири, небольшой обоз – семь разновеликих, крытых брезендуком фур, нагруженных мебелью и имуществом Муравьевых, при том семь возчиков и четыре вольнонаемных охранника (для их отдыха обоз сопровождали две кибитки) – остановился в селе Рождествене, в трех верстах от паромной переправы через Волгу.

Время было к вечеру, на паром так и так не поспевали, и поручик Вагранов распорядился заночевать на постоялом дворе. Ивана Васильевича генерал-губернатор попросил не в службу, а в дружбу сопроводить обоз до новой резиденции, обеспечив его сохранность. Очень уж полюбилась Екатерине Николаевне обстановка в тульском доме, сработанная руками мастера Шлыка, не захотела она с ней расставаться, Разместив по комнатам подначальных людей и перекусив тут же в трактире, Вагранов вышел прогуляться по селу и размять ноги, затекающие от долгого и почти неподвижного сидения в седле.

Село было небольшое, но явно хорошего достатка; принадлежало, как успел узнать Иван Васильевич у трактирщика, самарским богатым Шихобаловым, владельцам и паромной переправы, и постоялого двора, за счет которых селяне в основном и кормились. Рождественских селян и крестьянами-то называть было как-то неуместно: хлеб они почти не выращивали из-за недостатка полей, занимались огородами и скотиной, благо пойменные луга давали в достатке хорошего сена, а многие обслуживали переправу и постоялый двор, где работы было в избытке.

Он прошел по неширокой, с каменистой проезжей частью улице. Избы по обе стороны, крытые не соломой, как в хлебородной части России, а лубяной дранкой, прятались за огороженными плетнями палисадниками, в которых густо росли черемуха, сирень, шиповник, яблоньки. Глаз радовало осеннее разноцветье листвы. Ветки русской розы были усыпаны крупными, как орехи, но удлиненными, с кисточкой на конце, плодами. Хорош будет сбитень с сушеным шиповником, – подумал Иван Васильевич. – Зимой с мороза кружка горячего ароматного сбитня – как славно! Лучше всякого заморского чая.

Вагранов вышел по дороге за околицу, осмотрелся. Слева за спиной к темнеющему небу, подобно застывшей штормовой волне, поднимался Жигулевский кряж – пологие увалы, заросшие вперемежку хвойными и лиственными лесами, сейчас уже покрытые сизой предвечерней дымкой. Справа пойменные кустарники перемежались с заливными лугами до синеющей вдали полосы Волги. А прямо, в широком прогале между деревьями, солнце золотило далекие – на другом берегу – белокаменные дома и церкви Самары.

Ивану Васильевичу захотелось получше рассмотреть красивую панораму большого города. Он углядел неподалеку подходящий взгорок, обращенный обрывом к реке. Взгорок, хотя и зарос соснами, но опытный глаз военного человека сразу определил, что вид с него должен быть отменный. Цепляясь за ветки густого подлеска, поручик стал подниматься вверх и уже почти добрался до нужного места, как вдруг услышал голоса – мужской и женский – и замер в ожидании. Разговаривали, как ни странно для этакой глуши, по-французски. Вагранов сам говорить не мог, но, заслужив на войне личное дворянство и уже почти десять лет будучи равноправным членом офицерского общества, где чаще всего употреблялся французский, научился неплохо его понимать.

Говорили о войне в Алжире. Вернее, говорил мужчина, а женщина только ахала и вставляла слова «Ужасно!», «Какие вы герои!», «Как же вам удалось?» и тому подобное. Как понял Вагранов, мужчина рассказывал, что оказался в плену у бедуинов вместе с каким-то лейте-

нантом Дюбуа, какие они в течение года испытывали издевательства и лишения, как, улучив момент, бежали и шли через пустыню без питья и еды... Естественно, женщина не могла остаться безучастной к таким событиям.

Иван Васильевич догадался, что стал невольным свидетелем простейшего «охмурения» особы женского пола и что сейчас за словами последуют определенного рода действия. Дело житейское, не терпящее свидетелей, и он уже собрался было потихоньку ретироваться, как вдруг неожиданное продолжение заставило его сначала остановиться, а затем и вмешаться в происходящее.

Невидимый за кустами мужчина что-то забормотал об отсутствии на войне женской ласки, женщина ответила вроде бы в том смысле, что вовсе не намерена удовлетворять его плотские желания, после чего послышалась какая-то возня и вслед за тем хлесткий в вечернем воздухе звук пощечины.

– Ах ты, сука! – взрычал вдруг по-русски мужчина. – Ломаться вздумала!

Вагранов не стал дожидаться продолжения и искать подходящий путь наверх: подобно лосю он проломился сквозь кусты и очутился в обществе странной пары. Она – стройная девушка в серо-серебристой тальме поверх серого атласного платья, на черноволосой кудрявой головке маленькая шляпка, подвязанная атласной лентой под подбородком. А в руке... в правой руке она держала маленький кинжал, направив острие в сторону своего недавнего собеседника. Он – широкоплечий молодой мужчина в коричневой, отороченной мерлушкой чуйке и черных юфтовых сапогах, волосы на непокрытой голове растрепались, на левой щеке круглого черноусого лица краснело пятно – след от пощечины.

Все это поручик охватил одним беглым взглядом, успев в два шага заслонить собой девушку, отступившую и прижавшуюся спиной к коричневому чешуйчатому стволу сосны.

– Опаньки! – крикнул черноусый и хлопнул себя руками по бокам. – Никак из самой преисподней защитничек выпрыгнул.

Он несколько не испугался, наоборот, даже развеселился, видимо, предвкушая, как легко разделается с нарушителем их уединения прямо на глазах у недотроги. Вагранов был хоть и столь же высок, но в плечах куда уже и по комплекции много субтильней.

– Шел бы ты, господин хороший, отсюда подобру-поздорову, – посоветовал черноусый, широко улыбаясь, – а то ведь ненароком зашибу али покалечу.

– Эге, любезный, да я тебя, кажется, помню, – сказал вдруг Вагранов. – Не тебя ли месяц назад губернатор тульский приказал выпороть за пьянку в запретное время? Точно, тебя. Вон и шрам на правом виске. А спину покажешь, так и на ней наверняка следы от плетей остались. И ты еще говорил, что ты – подданный французского короля...

– О! Жорж! – воскликнула за спиной Вагранова девушка. – Вас биль на écurie⁴! Ви – как это? – крепостной! Quelle horreur!⁵

Григорий Вогул – а это был он – побелел от бешенства, глаза его сузились, усы встопорщились, ноги слегка согнулись в коленях, словно перед прыжком. Всем своим видом он напомнил Вагранову готовую к нападению рысь – этих лесных кошек Иван насмотрелся в родной Вятской губернии, не единожды сопровождая отца на охоте, и, естественным образом, насторожился. Однако, несмотря на это, все-таки пропустил момент, когда противник извлек откуда-то нож. В следующее мгновение поручик упал на колено, одновременно локтем сбив девушку с ног, – запущенный почти без взмаха клинок, чмокнув, вонзился в ствол дерева. Как раз в то место, где только что была нежная девичья шейка. Но Вагранов был уже в прыжке: резко оттолкнувшись согнутой при падении ногой, он ударил головой противника в грудь, сшиб его с ног, и они, сцепившись, покатались по обрыву вниз.

⁴ Конюшня (фр.).

⁵ Какой ужас! (фр.)

– Au secours!⁶ – кричала девушка, заглядывая за край откоса. – Люди, помогать! Quelqu’un!⁷ Au secours!

Людей поблизости не было, да если бы они и были, вряд ли кто-нибудь понял бы эту смесь неправильного русского с французским. Мужчины внизу молотили друг друга – только кулаки мелькали. Девушка еще раз огляделась и, не увидев спешащих на помощь русских пейзажей с вилами наперевес, подхватила лежавший рядом толстый сухой сук, подобрала юбку и прыгнула вниз. Приземлившись на невысокие каблучки сапожек, она не удержалась, пробежала по откосу несколько шагов и упала прямо на спину Вогула, который оседлал к тому времени ослабевшего поручика и занес свой внушительный кулак, чтобы окончательно сокрушить незваного защитника женской чести.

Удар в спину трех пудов веса девушки, совпавший с хлестким ударом сухим дрыном по непокрытой голове, выбил из Григория на какое-то время дух, и Вогул мешком свалился на задыхающегося Вагранова.

2

Лежа пластом поверх недвижимого Вогула, девушка очутилась нос к носу со своим рыцарем. Сквозь пот, заливший лоб и щеки и жгуче щипавший глаза, поручик вдруг разглядел необыкновенно милое участливое лицо.

– Comment vous sentiez-vous?⁸ – спросили пухлые красные губки, и Вагранов с трудом отвел от них еще замутненный напряжением взгляд.

– Уже лучше, – сказал он. – И будет совсем хорошо, если вы встанете на ноги.

– О, excusez-moi, excusez-moi!⁹ – смущенно воскликнула девушка, вскочила на ноги и помогла Вагранову выбраться из-под неподъемной глыбы обеспамятевшего Вогула.

Иван Васильевич отряхнулся, поправил на плече полуоторванный эполет, поискал глазами фуражку, но она, видимо, осталась наверху, слетев с головы во время его атаки. Без фуражки военному человеку неудобно, однако что поделаешь!

– Честь имею представиться: поручик Вагранов Иван Васильевич. – Он подумал: «К пустой голове руку не прикладывают», поэтому просто слегка поклонился.

– Элиза Христиани, musicienne¹⁰. Виолончель. – Девушка изобразила игру на виолончели и протянула Вагранову руку. Он бережно ее поцеловал и кивнул в сторону лежащего – тот как раз зашевелился и застонал.

– Это ваш знакомый?

– Нет-нет! Ми встретиться этот день, se soir¹¹. Жорж служить Иностранный легион.

– А-а, вот откуда у него французское подданство. Заслужил, значит, на несправедной войне. Не зря говорят, что в этом легионе не солдаты, а одно зверье. Зачем же вы с ним пошли на прогулку?

– Он интересно рассказывать – я очень слушать...

– Заслушалась?

– О, да-да, заслушалась, – Элиза махнула рукой и засмеялась.

– Вам смешно, – пробормотал Иван Васильевич, – а если бы меня там не оказалось...

Страшно подумать!

⁶ На помощь! (фр.)

⁷ Кто-нибудь (фр.).

⁸ Как вы себя чувствуете? (фр.)

⁹ О, простите, простите меня! (фр.)

¹⁰ Музыкантша (фр.).

¹¹ Сегодня вечером (фр.).

Он говорил как бы про себя, но Элиза расслышала и поняла. Сунула руку под тальму, и в кулачке ее снова сверкнул клинок.

– Вот! – сказала она уверенно. – Не страшно!

– Смелая вы девушка, – усмехнулся Вагранов. – Со шпилькой против медведя. Ну да ладно, что с этим-то делать? – Он опять кивнул на Вогула, который уже сел и мотал головой, пытаясь прийти в себя. Видно, крепко его огрела виолончелистка суковатым «смычком».

– Отпустить, – голос Элизы дрогнул. – Я не хочу, чтобы его снова бить на конюшня! Он – солдат, комбатант...

– Отпустить? – Вагранов осмотрелся. Солнце уже скрылось за дальним лесом, в той стороне, где была деревушка со смешным названием Шелехметь, они ее проходили с обозом. Синие сумерки заволакивали окрестности, и Самары не было видно из-за возвышенного берега протоки, на сухом дне которой они дрались с комбатантом Иностранного легиона. – Отпустить – не вопрос. Вопрос в другом: чего его носит по России?

– Носит? – Элиза смешно сморщила нос. – *Que dites-vous?*¹²

– Почему он не уехал во Францию? – пояснил поручик. – Он же французский подданный, *sujet français*, а остался в России.

– О! – огорчилась Элиза. – Я не знала, почему.

– Ну да ладно. Откуда вам знать. Это его проблемы. Идемте, мадемуазель, – Иван Васильевич галантно подал девушке руку. Она оглянулась на зашевелившегося снова Вогула. – Не волнуйтесь, очухается. *Va revenir a soi*¹³.

¹² Что вы говорите? (фр.)

¹³ Скоро придет в себя (фр.).

Глава 8

1

Хмурым ноябрьским днем, когда петербургское небо заволочено небрежно сваленным одеялом серых облаков, из которых то брызжет мелкий противный дождь, то сыплется не менее противный мелкий снег, Муравьев ехал на извозчике по Невскому проспекту, направляясь в министерство внутренних дел. Пошел уже второй месяц, как они с Катрин прибыли в Петербург и поселились в гостинице Hotel Napoléon Vosquin, что на Малой Морской. Николай Николаевич знакомился в «своем» министерстве с отчетом сенатора Толстого по ревизии Восточной Сибири о состоянии золотодобычи и сельского хозяйства – в общем, с делами его будущей, как он ее называл в узком кругу, епархии. Лев Алексеевич Перовский не ленился представлять своего протеже другим министрам, с которыми генерал-губернатору в дальнейшем придется иметь сношения: главному по финансам и торговле Федору Павловичу Вронченко; по военным делам генералу от кавалерии светлейшему князю Чернышеву Александру Ивановичу, который, конечно же, генерал-майора Муравьева знал и прежде, но теперь должен был знакомиться с ним как бы заново – уже как с генерал-губернатором, коему по должности подчинялись все находящиеся на подведомственной территории военные части и учреждения; начальнику Главного морского штаба адмиралу светлейшему князю Меншикову Александру Сергеевичу; заботнику о народном просвещении графу Уварову Сергею Семеновичу; по юстиции графу Панину Виктору Никитичу... А уж канцлеру и министру иностранных дел графу Нессельроде Карлу Васильевичу в первую очередь – у Восточной Сибири граница с Китаем огромной протяженности, спорных вопросов тьма, и без поддержки опытейших дипломатов, в первую очередь самого министра, уже тридцать лет ведающего внешнеполитическими делами России, молодому генерал-губернатору придется туго.

Так считал Лев Алексеевич. Правда, до визита к Нессельроде.

Канцлер принял их в рабочем кабинете. Сухой подтянутый старик (в декабре ему должно было исполниться шестьдесят семь) встретил высоких посетителей, стоя у края стола, вяло пожал руку Перовскому, склонил голову, приветствуя Муравьева (сразу определил дистанцию, подумал генерал-губернатор), и предложил сесть на жесткие вольтеровские кресла с высокими спинками. Сам опустился в такое же кресло, высоко подняв плечи, при этом голова, покрытая клочками седых редких волос, почти утонула в высоком, шитом золотом воротнике дипломатического мундира. Небольшие и тоже клочковатые седые бакенбарды, крючковатый нос и веки, набухшие мешочками вокруг глаз, делали его похожим на хищную птицу.

– В обществе по поводу вашего назначения есть разные лады, – скрипуче сказал Нессельроде. Полвека живя в России и занимаясь российской внешней политикой, он так и не научился правильно говорить по-русски. – Все имеют удивление вашей молодостью, а вы и впрямь есть возмутительно молодой.

О пересудах в отношении себя Николай Николаевич узнал от великой княгини Елены Павловны: нанес ей визит сразу по приезде в Петербург, вместе с Екатериной Николаевной. Елена Павловна была искренне рада его возвышению, не приняла никаких благодарностей за участие и обласкала юную генеральшу, попросив позволения запросто называть ее по имени. Екатерина Николаевна зарумянилась от столь откровенного благорасположения и смогла только кивнуть в ответ.

– Ваш муж, дорогая Катрин, – сказала за чаем великая княгиня, – так взбудоражил весь высший свет не только в Петербурге, но, я слышала, и в Первопрестольной, что уже месяц, как об этом лишь и говорят. Дошло до того, что, мол, главный начальник Третьего отделения Алек-

сей Федорович Орлов ошибся: государю следовало представить Николая Николаевича Муравьева, прозываемого Карским, а он представил вашего Николя. – Она весело засмеялась. – Но я-то доподлинно знаю, что никакой ошибки не было.

– А что говорят в вашем салоне? – осторожно поинтересовался у хозяйки Муравьев и пояснил Катрин: – У ее императорского высочества литературно-политический салон, где собираются самые просвещенные умы нашего Отечества.

– Ах, мой маленький паж, – улыбнулась Елена Павловна, – в моем салоне давно уже все обсудили, и ваша кандидатура встретила самое благожелательное отношение. На вас надеются и верят, что вы сумеете вернуть в лоно России некогда утерянные земли по реке Амуру.

– Да, про Амур мне и государь намекал, – задумчиво произнес Николай Николаевич. – Правда, очень туманно...

– *A bon entendeur peu de paroles*¹⁴, – лукаво усмехнулась Елена Павловна. – Любимое изречение императора для близких ему людей. Он вам его еще не говорил?

– Н-нет, – неизвестно отчего смутился Николай Николаевич.

– Значит, еще скажет, – уверенно заявила великая княгиня.

– Почему вы так уверены, ваше императорское высочество? – осмелилась подать голос до того скромно молчавшая Катрин.

– Во-первых, милая Катрин, в простой обстановке зовите меня Елена Павловна, а во-вторых, я неплохо знаю направление мыслей императора и возможности вашего супруга. Но, – великая княгиня обвела Муравьевых смеющимися глазами, и Катрин покраснела под этим умным, пронизательным и очень доброжелательным взглядом, – судя по всему, ваша роль в выявлении этих возможностей будет крайне велика. Вы знаете, почему русский народ так полюбил немку Екатерину Вторую? – неожиданно спросила она и, не дожидаясь, ответила сама: – Екатерина захотела стать русской по духу и стала ею, хотя до конца жизни говорила с немецким акцентом. Интересы России были для нее превыше всего. Вот и вы берите пример с вашей великой тетки, и тогда Николай Николаевич с честью исполнит свое предназначение.

Муравьев сидел красный, как вареный рак, и молчал. Ему было и лестно слышать такие слова от своей замечательной покровительницы, и неудобно перед Катрин, потому что ощущал он себя сейчас не генералом, а тем самым юным фельдфебелем и камер-пажем на коронации Николая Павловича.

2

Слова Нессельроде о Китае и Амуре вернули его в кабинет канцлера.

– ...с Китаем осторожным следует быть особливо, – говорил Карл Васильевич, постукивая по крышке стола длинными сухими пальцами. – Китай считает Амур своей рекой, и он имеет для этого достаточно серьезные основания. Да, русские проходители земли открыли Амур для России, однако же, паче чаяния, пробыли там только половину столетия, в то время как Китай имел быть владельцем этих земель со времен Хубилай-хана...

– Простите великодушно, ваше сиятельство, – внезапно вмешался Перовский, – но земель, на которой стоит Петербург, еще полтора века тому назад владели шведы, так, может, надо вернуть им Неву и всю Ингерманландию?

Нессельроде пожевал сухими губами и на одном дыхании ответил длиннейшей фразой, словно по написанному:

– Исторические процессы в цивилизованной Европе есть более быстрые, нежели на консервативном Востоке, что показывают результаты деятельности Священного союза, который закрепил сложившиеся после Наполеоновских войн границы, для того чтобы впредь не допус-

¹⁴ Для смышленного слушателя не нужно много слов (фр.).

кать их насильственного передела. – Передохнул и продолжил: – Китай же есть неизменный тысячелетия, и кратковременная утрата контроля над Амуром ничего для него не значит. А вот полной потери он не станет допускать...

– Зато, – усмехнулся Перовский, – он вполне мирится с захватом своих территорий Англией и Францией.

– Это есть временно. Но пусть Англия и Франция увязают в Китае, нежели обращают внимание на русское побережье Тихого океана. Наши конфликты с ними не будут иметь резон, и это есть более важно, чем иметь ссоры с Китаем...

– В общем, надо тихо сидеть и ничего не сметь, – не выдержал Муравьев. – Разве в этом состоит величие России, о котором надлежит печься каждому патриоту Отечества?

– О величии России я пекусь уже тридцать один год, – холодно сказал канцлер. – И давно имею понимание, что надо не захватывать новые земли, а делать освоение того, что уже есть. Освоить и развить территории, которыми Россия владеет уже сотни лет, – это есть истинное ее величие! *Contentum esse suis rebus maximae sunt divitiae*¹⁵. Следует подумать над этим, молодой человек.

Нессельроде встал, давая понять, что аудиенция окончена. Перовский и Муравьев не замедлили откланяться.

Потом, когда они ехали в свое министерство, Николай Николаевич спросил:

– Чем он там поучал по-латыни, не знаете, Лев Алексеевич?

– Я в латыни не силен, но, кажется: «Надо быть довольным своим положением».

– Точно: сиди и не рыпайся, как говорили мои солдаты. Так мы далеко не уйдем. А что это он словами пользуется, которых сегодня уже почти и не слышно, – «особливо», «паче чаяния», «нежели»?

Лев Алексеевич засмеялся:

– Он же немец из старинного графского рода, а хочет быть среди русских своим. Родился в Лиссабоне, печется, видите ли, о величии России, а сам спину гнет перед Австрией, – голос Перовского затвердел, в нем явственно зазвучало железо, – которая все делает для ослабления России. Знаете, как о нем говорят? Нессельроде – вице-канцлер, потому что служит подручным у канцлера Меттерниха. Поэтому и перед Священным союзом, который создавал Меттерних, благоговееет. самого союза давно нет, но идеи его не только живы, но имеют влияние на сильных мира сего.

Муравьев снова вспомнил визит к Елене Павловне, ее слова об Екатерине Великой и подумал: вот ведь какие разные бывают немцы: Нессельроде, наверное, искренне считает, что болеет о благе России, а на деле выходит что?

– Как же быть с Амуром? – спросил он. – Вряд ли я буду иметь поддержку у наших дипломатов, пока ими управляет граф Нессельроде. И вообще, Лев Алексеевич, не слишком ли неподъемную ношу взвалили вы на меня?

– Ну, в отношении поддержки со стороны канцлера я оказался неправ. Похоже, он будет нашим противником.

– И Вронченко, и Панин, – уныло добавил Муравьев. – Они тоже не в восторге от меня. Тяжела ты, шапка Мономаха!

– Император и не скрывал, что это – не синекура. – Перовский положил свою руку на руку Муравьева. – А что сказал на ваше назначение генерал Головин? Вы же считаете его своим учителем на военном и гражданском поприще и, наверное, известили о таком событии. Он уже два года как генерал-губернатор прибалтийский и может поделиться опытом.

– Да, Евгений Александрович мне как второй отец. Его советы и наставления для меня святы. Он написал мне, что надо верить в свои силы и в Бога, и тогда все получится.

¹⁵ Быть удовлетворенным своим положением – самое большое богатство (лат.).

– А без поддержки в деле вы не останетесь. Амур нужен России, и, кто бы ни был против, мы с Божьей помощью его одолеем. Кстати, вы уже повстречались с вице-адмиралом Литке?

3

С Федором Петровичем Литке Муравьев еще не виделся. Светлейший князь Меншиков настоятельно рекомендовал ему познакомиться с путешественником, дважды обошедшим земной шар, исследовавшим, в частности, Берингово море.

– Море это, да еще Охотское, теперь будут полностью под вашим началом, – сказал старый царедворец и добавил с присущей ему иронией: – А вот в моем Главном штабе иные адмиралы и моря-то, кроме Финской лужи, не видали. Впрочем, как и аз, грешный.

Год назад Литке возглавил Морской ученый комитет, и не было, пожалуй, в России человека, больше него знавшего про таинственную реку Амур. А встретиться не получилось, потому что Федор Петрович простудился и слег, напрашиваться же к нему домой Николай Николаевич посчитал неудобным, хотя секретарь комитета сказал, что двери дома вице-адмирала открыты для любого посетителя, ежели он, конечно, по делу.

Может быть, знаменитый исследователь уже выздоровел? В министерстве Перовского у Муравьева ничего срочного не было – просто ознакомился в архиве с делами по Восточной Сибири, поэтому он ткнул извозчика в спину:

– Давай-ка, голубчик, заворачивай к Адмиралтейству, к главному подъезду...

Федор Петрович оказался у себя. Секретарь доложил ему о визите генерал-губернатора, и, войдя в кабинет, Николай Николаевич был до глубины души поражен, столкнувшись с вице-адмиралом лицом к лицу буквально на пороге: столь резво председатель ученого комитета поспешил навстречу гостю. А кроме того, не могла не изумить внешность моряка: рыжевато-седая шевелюра, мощные бакенбарды и большие усы того же оттенка придавали ему сходство с царем зверей. И почему опытного моряка называют морским волком? – мелькнуло в голове Муравьева. – Это же лев, и никто иной. И голос соответствует.

– Рад, очень рад познакомиться, ваше превосходительство, – сипловатым басом рокотал Федор Петрович, провожая генерала в уютный уголок кабинета, где между двумя мягкими диванчиками с высокой спинкой удобно устроился низкий столик. – Не ушибитесь, ради бога, и уж, пожалуйста, не свалите чего-нибудь.

Предупреждения хозяина были небеспочвенны. За несколько секунд, которые понадобились, чтобы дойти до дивана, Муравьев цепкими глазами командира, привыкшего мгновенно оценивать боевую обстановку, оглядел кабинет.

Рабочий стол адмирала стоял левым краем к окну, выходящему, как он успел заметить, на Большую Неву. Возле стола «лицом к лицу» стояли два глубоких кожаных кресла для посетителей, к ним от входной двери вела ковровая дорожка. Вот эта дорожка, небольшое пространство вокруг стола – только-только чтобы кряжистый вице-адмирал мог протиснуться на свое хозяйское место – да еще проход к диванному уголку можно было считать более или менее свободными. Все остальное занимали подставки с макетами парусников, различными, видимо, штурманскими, инструментами и свернутыми в трубки картами; круглым боком выпирал в проход огромный глобус с нанесенными на нем маршрутами морских экспедиций; у стены выстроились шкафы с книгами, подобраться к которым можно было, лишь проявив чудеса изворотливости. Интересно, как это получается у вице-адмирала? Хотя, судя по стопкам книг и журналов на рабочем столе, все нужное у него под рукой, а возникнет необходимость забраться в шкаф – для этого есть секретарь.

Вот только уголок отдыха довольно милый.

На диване сидел человек в темно-зеленом военно-морском мундире с белым стоячим воротником и золотыми якорями на обшлагах, с погонами капитан-лейтенанта из зеленого

сукна с золотым позументом. Он встал, приветствуя нового гостя, и сразу понравился Муравьеву. Может быть, тем, что они были примерно одного роста и одного возраста, но скорее открытым, высоколобым, обветренным, слегка подпорченным рябинками лицом, которому очень шли чуть висячие черные усы.

– Капитан-лейтенант Невельской, можно сказать, старый офицер моей эскадры, и новый генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-майор Муравьев, – представил их друг другу хозяин. – Прошу любить и жаловать.

– Николай Николаевич, – протягивая руку, сказал Муравьев.

– Геннадий Иванович. – Рукопожатие Невельского оказалось чересчур крепким, Муравьев невольно поморщился и, заметив мелькнувшую в глазах моряка тревогу, вынужден был пояснить:

– Старая рана.

– Прошу извинить, ваше превосходительство, не знал.

– Николай Николаевич, – подчеркнул Муравьев. – А насчет раны не беспокойтесь. Почти зажила.

Покрывил душой, конечно: перебитая пулей в бою под Ахульго кость срослась плохо. Но рана – пустяк: вот если бы тогда не пришел на помощь Вагранов... Мюриды Шамиля не щадили никого, а уж русский офицер, окажись у них в плену, испытал бы все муки ада.

– Садитесь, господа, садитесь, – гостеприимствовал Федор Петрович. – Выпьем по стаканчику рому, как полагается мужчинам, и выложим, что наболело.

Он открыл дверцу буфета, почти примыкавшего к столику, извлек большую бутылку ямайского рома и три хрустальных стаканчика, тарелки с заранее нарезанными сыром и ветчиной, маленькую, плетенную из соломки, хлебницу, накрытую салфеткой, из-под которой угловато выпирали ломти каравая, и блюдечко с дольками лимона. Три серебряные вилочки завершили нехитрую сервировку.

Первый тост – за знакомство хороших людей – поднял Литке. Он и Невельской выпили по полной, Муравьев – чуть пригубил. На укоризненный взгляд вице-адмирала показал на сердце и развел руками: не обессудьте. Федор Петрович огорченно крикнул, но обсуждать этот вопрос не стал, а перешел к делу:

– Ну-с, милостивый государь Николай Николаевич, что привело вас в наш комитет?

– Амур, многоуважаемый Федор Петрович. Загадочная река Амур.

При упоминании Амура Невельской встрепенулся, но промолчал, выжидающе обратившись всем корпусом к Литке: что скажет человек, лично бывавший в тех краях? Правда, непосредственно до Амура он не добрался – помешали обстоятельства, – но все-таки...

– Понима-аю, – протянул «морской лев». – А вы знаете, мой друг, что начертала августейшая рука на докладе поручика Гаврилова?

– Кто таков поручик Гаврилов, что его доклад попал на стол государя? – поинтересовался Муравьев.

– Гаврилов состоит на службе в Российско-Американской компании, в ведении которой, как вам должно быть известно, находятся Русская Америка и вся торговля с инородцами в тех краях. Ей же предписано проводить различные научные изыскания, в первую очередь географические, якобы для улучшения торговли. Ну, чтобы излишне не возбуждать китайцев, испанцев и прочих англичан. – Федор Петрович налил себе и Невельскому по второй. Выпили, закусили. Муравьев тоже сделал себе бутерброд с ветчиной. После чего Литке продолжил: – Да простит меня драгоценный Геннадий Иванович: то, что я расскажу, ему уже известно... Так вот. Весной прошлого года Гаврилову с высочайшего указания было поручено тайно обследовать юго-западную акваторию Охотского моря на предмет поиска устья Амура. То есть всем понятно, что устье, конечно же, имеется, но вот годится ли оно для судоходства, в первую очередь морского, – большой вопрос. А тут еще дошли сведения, правда, довольно глухие, что

беглые каторжане с наших рудников в Забайкалье пробираются в низовья Амура, роднятся с гиляками и ороченами, оседают на тех землях и даже вроде бы основали поселение, как когда-то Албазин. А это грозит международными осложнениями. Поэтому Гаврилову предписано было выдавать себя за нерусских рыболовов, случайно занесенных туда ветром и течениями. Даже табак у них был американский, а вместо флага – разноцветная тряпка. Да-с...

– Ну и как, нашел Гаврилов вход в устье? – не удержался от любопытства Муравьев.

– Нет! – сказал, как отрубил, Федор Петрович. – Он промерил глубину Амурского лимана, и у него получилось не больше трех футов. Он и написал в докладе, что Амур, видимо, теряется в песках лимана. Ну, что-то подобное утверждали до него и француз Лаперуз, и англичанин Броутон, и наш Иван Федорович Крузенштерн, учитель Геннадия Иваныча по кадетскому корпусу. Ныне покойный, мир праху его.

Литке, а вслед за ним Невельской и Муравьев, встали и перекрестились. Федор Петрович расстегнул свой вице-адмиральский мундир – на белом воротнике и темно-зеленых обшлагах красовалась золотая вышивка с якорями, на шитых золотом эполетах по два черных орла – и, грузно усевшись на место, разлил еще по одной – в память о первом российском кругосветнике. Муравьев отпил чуть больше прежнего.

– Так вот, император, с подачи канцлера Нессельроде, на докладе Гаврилова наложил собственноручную резолюцию: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить». Пытался я как-то смягчить государя, но граф Нессельроде более влиятелен. Он категорически считает, что по Нерчинскому, 1689 года, договору Амур бесповоротно стал китайским, и России о нем следует забыть. А тут такой доклад – ему душу словно маслом помазали!..

– Не верю, Федор Петрович, – подал, наконец, голос Невельской. – Я с кадетского корпуса, как узнал об этой реке, так и заболел ею. Это ж из Забайкалья прямая дорога к океану! Смотрите: Шилка, Аргунь, Зея, Бурея, Сунгари, Уссури, Амгунь, десятки других притоков, больших и маленьких – куда это все девается? В песок уходит? Не верю! Великий Нил течет через пустыни и не уходит в песок. – Невельской разволновался, лицо пошло красными пятнами. Муравьев искоса внимательно за ним наблюдал, не вмешиваясь. Да, собственно, и не с чем было вмешиваться: слишком мало он знал. Зато с каким-то неизъяснимым наслаждением впитывал новые для себя сведения. И невольно внутренне зажигался от горячих слов капитан-лейтенанта, с которыми тот заседал на невозмутимого вице-адмирала: – А «скаски» наших землепроходцев? Василий Поярков – он же выходил из Амура в лиман и Охотское море! Ерофей Хабаров составил «Чертеж реки Амур»! У них и слова нет об отсутствии устья! Наоборот, писали о могучем течении, да другого и быть не может, ежели река течет сквозь горные хребты. Кстати, о хребтах и Нерчинском договоре. Я его внимательно изучил и пришел к выводу, что окольный Федор Алексеевич Головин, подписавший этот трактат под сильнейшим военным давлением китайцев, все-таки совершил настоящий дипломатический подвиг. Он заставил китайцев согласиться, что граница между Россией и Китаем должна идти по Становому хребту до верховьев реки Уды и дальше по нему же до моря, и что все реки, стекающие с этого хребта, кроме южных, Зеи и Буреи, впадающих в Амур, признаются русскими. Но дело в том, господа, что китайцы называют Амуром реку только до впадения в нее Сунгари или Шунгала, а ниже, до моря, это, по их мнению, все Шунгал, а не Амур! И вся остальная часть бассейна Амура, вплоть до моря, осталась неопределенной. И эта неопределенность связана с направлением Хинганского Станового хребта, который, возможно, поворачивает не к Охотскому, а к Корейскому морю. И что из этого получается?!

– Что получается? – эхом отозвались Литке и Муравьев.

– А получается, – торжествуя, сказал Невельской, – что, если мы зайдем в Амур с устья, можно вернуть России земли, открытые Поярковым и Хабаровым, вплоть до Сунгари, ничем не нарушая пресловутый Нерчинский трактат. И даже вдоль Уссури до Кореи, где море не замерзает! Для этого и нужно исследовать устье Амура, дорогой Федор Петрович!

– Вы так на меня нападаете, драгоценный мой Геннадий Иванович, – обиженно откликнулся Литке, – как будто именно я не позволяю вам исследовать Амур. Да за ради бога, отправляйтесь, хоть завтра же! Вон транспорт военный «Байкал» строится в Гельсингфорсе, следующей осенью пойдет в Камчатку, а командир еще не назначен. Дерзайте! Я дам вам рекомендацию. Однако... – он назидательно поднял указательный палец, – во-первых, резолюцию государя никто не отменял, а во-вторых, великий князь Константин Николаевич, наш молодой генерал-адмирал, вряд ли вас от себя отпустит: как-никак, вы с ним более десяти лет. И наставник, и наперсник! И, насколько я знаю, есть у него намерение назначить вас командиром фрегата «Паллада».

Наступила пауза. Невельской по-детски растерянно оглянулся на Муравьева, как бы ища помощи или хотя бы сочувствия, и генерал не отмолчался. Тем более что он не на шутку был взволнован горячей речью капитан-лейтенанта и открывающимися перспективами.

– Вернуть России земли, которые позволят нам встать двумя ногами на Великом океане – ради этого стоит и жизнь отдать. Да, государь хотя и согласился с Нессельроде, что Амур – река для России бесполезная, однако же обратил мое особое внимание на Амур. Правда, намекнул, что еще не время, но все движется, все изменяется... В общем, если вы, Геннадий Иванович, добьетесь назначения на «Байкал», то я постараюсь получить для вас разрешение на поиски устья Амура. Думаю, это случится после прихода транспорта в Петропавловск. Сколько морем идти до Камчатки?

– Через Атлантику и Великий океан при полном благополучии месяцев девять-десять, – сказал Литке.

– То есть, выйдя по осени, в начале лета тысяча восемьсот сорок девятого транспорт прибудет в Петропавловск. Вот и отлично! Надеюсь, Геннадий Иванович, нам с вами вместе долгой предстоит служить.

– Но я, Николай Николаевич, прохожу по ведомству Главного морского штаба, подчинен князю Меншикову. Как, собственно, представляется вам наша совместная служба?

– Это решим. Мне как генерал-губернатору будут подчинены все силы в Восточной Сибири – и сухопутные, и морские. Я полагаю, сразу после разгрузки «Байкал», естественно, под вашим командованием, может направиться к северному Сахалину для исследования Амурского лимана. Для меня весьма важно ваше личное согласие.

– Да какое же может быть несогласие, если я только того и добиваюсь, чтобы попасть на Амур, – хриплым от волнения голосом произнес Невельской. – Если все получится, счастлив буду служить вашему превосходительству!

– У нас с вами, Геннадий Иванович, одно «превосходительство» – Россия. Простите уж мой солдатский пафос.

4

Через несколько дней в гостинице, где остановились Муравьевы, объявился радостный Невельской. Николай Николаевич представил его Екатерине Николаевне:

– Вот он, будущий герой Амура, о котором я тебе рассказывал!

– Ну, зачем вы так, Николай Николаевич? – смутился Невельской, целуя руку радушно улыбающейся Муравьевой. – До Амура еще очень далеко.

– Тем не менее вид у вас геройский. Случилось что-то замечательное?

– Федор Петрович и великий князь Константин Николаевич исходатайствовали для меня место командира транспорта «Байкал». Старшим офицером экипажа будет мой товарищ лейтенант Казакевич. Завтра мы с ним отбываем в Гельсингфорс для ускорения постройки транспорта.

– Чем это вызвано? – ехидно прищурился Муравьев. – Уж не спохватились ли в правительстве, что давно пора решить амурский вопрос?

– Никак нет, – грустно усмехнулся Невельской. – Князь Меншиков – а он ведь не противник исследования Амура – заявил, что времени и денег на обследование дать не может, и единственная возможность их занять – сэкономить на сроках постройки и на переходе через океаны.

– М-да, – пожевал губами Муравьев. – И я ведь тут ничем помочь не могу, милейший Геннадий Иванович. Ни денег, ни лишнего времени у меня для вас нет. Могу только предложить чашку чаю. Катюша, распорядись.

– Что вы, что вы, – замахал руками Невельской. – Я зашел по указанию князя Меншикова – официально представиться будущему начальнику.

– Вот и представились, – засмеялся молодой генерал-губернатор, обнимая Невельского за плечи и увлекая в гостиную. – Выпьем чайку, а если желаете, найдется что и покрепче, и поговорим об Амуре. Я о нем мало что знаю, а вы меня заинтриговали, и, пожалуй, решение этого вопроса в пользу Отечества должно стать главной целью моего губернаторства. Заодно и Катюша вас послушает – она в своей Франции об Амуре вообще ничего не ведала.

Глава 9

1

Раннее весеннее утро. С одинокой скалы, возвышающейся над лесом, срывается огромный беркут, за несколько взмахов могучих крыльев поднимается под легкие облака и оттуда кругами начинает снижаться. Его зоркие глаза видят простор тайги и слияние двух больших рек. По рекам движутся караваны лодок, паузков и плотов. На той, что справа, поспыхивает дымком маленький пароходик. На плотках и паузках – горы грузов, стоят палатки, лошади, дымят очажки, утренними делами заняты люди...

На длинной лодке с шестью гребцами караван объезжает генерал. Он стоит на носу и принимает с плотов и судов доклады офицеров, здоровается с людьми...

Беркут в крутом развороте устремляется к каравану. Птица видит, как на колоде рубит мясо большой огненнобородый человек в свободной полотняной рубахе, и налетает именно на него. От неожиданности человек роняет топор и падает навзничь. Беркут хватается за мясо и взмывает в воздух...

От тяжелого падения человека неожиданно рвется смоленый канат, связывающий плот, и бревна под напором течения начинают расползаться. Одна за другой лопаются другие связки, трещат и ломаются прибитые к бревнам доски, выдираются железные скобы, ржут и встают на дыбы лошади, между бревнами проваливаются в воду грузы и люди...

Лодка генерала оказывается как раз на траверзе гибнущего плота. Увидев, что люди начинают тонуть, генерал сбрасывает мундир, стягивает с ног сапоги и бросается в воду. Его охватывает острым холодом – с реки совсем недавно сошел лед, – но сквозь серо-зеленую зыбучую толщу он видит погружающееся темное пятно и, усиленно работая руками и ногами, устремляется за ним в глубину...

2

На гостиничной кровати застонал и проснулся Муравьев. Стремительно сел, очумело огляделся. Увидел рядом раскинувшуюся во сне Катрин и растер ладонями лицо.

– Ч-черт! Оказывается, приснилось...

Станный сон. Если он был на лодке, а это, скорее всего, так и есть, то почему сначала все видел сверху, глазами беркута? И что это за реки – уж не слияние ли Шилки и Аргуни в Амур? А караваны сплавляются вниз под его, Муравьева, командованием? Не иначе как вещий сон!

Он вспомнил, что Катрин тоже видела нечто странное после его назначения в Сибирь. Как втроем они замерзали в снегах, как потом их нашли... Неужто вправду во сне можно заглядывать в будущее? И что оно сулит, это будущее, если уже сегодня происходят странные и опасные события?

Николай Николаевич встал, накинул халат и вышел в гостиную, плотно притворив за собой дверь. Министерство сняло для него трехкомнатный номер – кроме гостиной (она же рабочий кабинет), еще спальня и комнатка для слуг на две кровати, разделенные ширмой. Там расположились камердинер Флегонт и горничная Лиза. Тесно, конечно, однако Катрин не роптала, а Муравьеву скудный быт привычен был по армии.

В два окна бессовестно заглядывала полная луна. Ее голубоватого света было вполне достаточно, чтобы передвигаться по комнате, не натываясь на мебель. Муравьев прошел в крошечную прихожую, где на простых крючках висела уличная одежда. Туда не достигал лунный

свет, и было совершенно темно. Ощупью он нашел свою шинель и из внутреннего кармана осторожно, чтобы не порезаться, за клинок вытащил кинжал. Вернувшись в гостиную, подошел к окну и постарался рассмотреть опасное оружие.

Кинжал был непростой. На четырехвершковом обоюдоостром лезвии, у самого основания, чуть ниже желобка, хорошо были видны гравированные вензель «N» и корона. Вензель, конечно, мог принадлежать кому угодно, однако в сочетании с короной очень уж похож на наполеоновский (попадался такой Муравьеву на глаза в каком-то историческом сочинении). Ну и что из этого следует? Вроде бы следует то, что владелец кинжала (теперь уже бывший) как-то связан с тем, почти сорокалетней давности, временем. Хотя... не исключено, это просто военный трофей. Но что тогда означают выгравированные на металлических накладных пластинках на рукоятке с одной стороны «LÉ», с другой – «HdV»? Если эти буквы имеют отношение к несостоявшемуся простому грабителю (полно, грабитель ли? по всему поведению скорее убийца!), то почему они нерусские? Или по столице России свободно разгуливают европейские разбойники? Ведь, судя по акцентному значку над «Е», язык французский, но это говорит лишь о том, что среди владельцев кинжала был француз, но француз ли нападавший – это большой вопрос...

От непривычных криминальных размышлений у Муравьева зашумело в голове. Он зажег свечу, достал из шкафчика на стене бутылку бордоского вина и бокал. Усевшись в кресло возле рабочего стола, налил себе вина, пригубил и, отставив бокал, снова взялся за кинжал. Сверкнувший в свете свечи клинок в который раз ярко напомнил о событиях минувшего вечера.

3

Из здания министерства внутренних дел он вышел затемно. Устав разбираться в делах по приисковым казенным остаткам, каждое из которых было невероятно запутано и требовало не генерал-губернаторского, а судебного разбирательства, Муравьев решил прогуляться по заснеженному бульвару, подышать после архивной пыли свежим морозным воздухом. Тихий вечер и успокоительный свет недавно взошедшей луны, порою радужно брызгавший в глаза отражениями от парящих в воздухе крупных снежинок, настраивали на размышления. И хотя они, эти размышления, под влиянием прочитанных бумаг были не бог весть какие радостные, настроение генерала тем не менее не позволяло предаваться унынию. Одолею, всё и всех одолею, думал Николай Николаевич, впечатывая сапоги в скрипучий снег, запорошивший дневные следы многих людей.

В это время суток бульвар был совершенно пуст. Любители прогуливаться по вечерам предпочитали улицы, освещенные газовыми фонарями, а здесь фонарей просто не было. Муравьев знал, что в Петербурге пошаливают грабители, но за себя не боялся. Во-первых, взять с него нечего. Шинель, хоть и генеральская, с барашковым стоячим воротником и пелериной, пошитая из солдатского сукна, да картуз, тоже барашковый, с отложным тылом для защиты шеи и ушей от холода, – слишком мелкая пожива. Во-вторых, он был при сабле, а это оружие способно отпугнуть не только мирного грабителя, но и вооруженного разбойника. Поэтому он шел спокойно, не оглядываясь по сторонам, слушая приятный хруст снега.

Но именно этот хруст его и насторожил. Уши, даже прикрытые барашковой шерстью, уловили чужие шаги. Кто-то шел следом и не просто шел, а двигался с короткими перебежками, как бы догоняя его. И сразу же предчувствие близкой опасности, хорошо знакомое по Кавказу, где из-за каждого куста и камня можно было ждать ружейной или пистолетной пули, охватило тело легким ознобом. Муравьев положил на эфес сабли левую руку – раненой правой он вряд ли смог бы сражаться, поэтому и сабля была прицеплена с правой стороны – и круто развернулся, одновременно отступая в сторону.

Наверное, этот маневр и спас ему жизнь. Взметнулась коренастая черная фигура, и в лунном свете остро блеснул клинок кинжала. Муравьев отстранился, изо всей силы врезал противнику ногой под колени и выхватил саблю. Нападавший со стоном упал, выронив кинжал, и откатился в сторону, спасаясь от сабельного удара. Потом вскочил и пустился бежать. Преследовать его Муравьев не собирался.

Вложив саблю в ножны, он поднял кинжал и сунул во внутренний карман шинели, решив рассмотреть его поближе в более спокойной обстановке. Катрин рассказывать ничего не стал: ни к чему ей лишние расстройствa.

4

И вот теперь он не мог избавиться от назойливой мысли, что кому-то очень сильно помешал, получив назначение на столь высокий пост. Чтобы решиться на убийство, да еще в столице, где полиция куда как строго следила за порядком, надо было иметь весьма и весьма веские основания. А никаких за собой иных «грехов» Муравьев, сколько ни силился, найти не мог.

Привлеченный светом свечи, из комнаты слуг выглянул камердинер Флегонт:

– Чего изволите, барин?

– Ничего не надо, старикан. Мне просто не спится, а ты иди, иди спи...

Николай Николаевич любовно называл своего постоянного, до чрезвычайности заботливого слугу стариканом, хотя тому недавно исполнилось всего лишь сорок пять лет, что было отмечено поздравлением и вручением подарка – табакерки для нюхательного табака, коему Флегонт был весьма привержен.

Проводив Флегонта рассеянным взглядом, Муравьев вернулся к своим мыслям.

Значит, причиной нападения можно однозначно считать генерал-губернаторство. В России, насколько ему было известно, он никому дорогу не перешел. Противники его возвышения были, да они есть и сейчас, но лишь по причине его «возмутительной молодости». Однако этот «недостаток», как известно, очень быстро изживается. Остается граница, в первую очередь, конечно, Англия и Франция, рвущиеся захватить наиболее выгодные территории на побережье Тихого океана. Они вполне могут решить, что он, Муравьев, молодой честолюбивый генерал-губернатор, станет помехой, и более того – активным противником их замыслов, которые идут вразрез с интересами России.

Неизвестно, насколько может быть деятельна Франция, а вот активность Англии – и это Муравьеву было доподлинно известно от умиротворенных им убыхов – проявилась на Кавказе в полной мере. Собственно, в том, что Кавказская война длится уже больше тридцати лет, в первую очередь повинна именно Британская империя, которая натравливает на русских горские племена, умело играя на их гордости, на верности исламу, подкупая деньгами и снабжая оружием князьков и беков. А русские, вместо того чтобы на деле показывать свою веротерпимость и уважение к инородным обычаям, чаще всего мстят за нападения горцев, дотла сжигая аулы. Имея опыт в умиротворении мятежников без выстрелов, Муравьев написал об этом докладную записку, но то ли ей не придали значения, то ли просто положили под сукно, не давая ходу; результат один: принципы войны, по сути захватнической, остались те же, и конца и края этой бойни не видно. И, самое парадоксальное, Кавказ России вовсе не нужен, пользы от гор никакой, а война затеялась конкретно из-за Грузии. Та, спасаясь от Турции и Персии, слезно упросила великую Россию принять ее под свое крыло; для связи с новой территорией потребовались дороги, а те проходили по берегу Черного моря и горам, и всюду ими владели независимые племена, которые не желали за просто так отдавать исконно свое. Вот и завязался гордиев узел, разрубить который вряд ли удастся.

Надо же, куда меня занесло с этим кинжалом, усмехнулся Муравьев. Он отложил его в сторону, глотнул еще вина и только вознамерился подняться, чтобы отправиться в спальню, как вдруг сзади на его плечи легли легкие дивные руки жены.

– Ты почему не спишь, Николя?

Он, не отвечая, поцеловал ее пальчики и хотел все же встать, но Екатерина Николаевна быстро обогнула кресло и, сев на подлокотник, обхватила мужа правой рукой за шею, запустив другую ему под рубаху. Она знала, что он обязательно повернет голову и уткнется лицом в разрез ее пеньюара, и, как обычно, задохнется от близости обнаженной груди – ему всегда в такие моменты не хватает воздуха. А дальше... дальше задохнется уже она от его быстрых поцелуев... и запрокинет его голову, и найдет губами его губы... и заскользит вниз, вниз, увлекая его за собой...

Но вдруг ее взгляд, уже затуманенный страстным желанием, встретился с отблеском пламени свечи на лезвии лежавшего на столе кинжала, она вздрогнула и окаменела.

– Что это?!

Распаленное воображение Муравьева не сразу вернулось к действительности, и Катрин повторила вопрос, протягивая руку к столу:

– Что это, Николя?

Он с трудом повернул голову, отрывая губы от ее груди:

– Это? Это кинжал, дорогая... Холодное оружие.

– Это не твой кинжал. Откуда он взялся?

– Ну-у... – Ему не хотелось лгать, ложь вообще была ему отвратительна. И неохотно ответил: – Один идиот решил ограбить меня. Но бежал, оставив свое оружие.

– Ты запомнил грабителя? – Катрин уже взяла со стола кинжал и теперь рассматривала его, поворачивая к свету одной и другой стороной. Николай Николаевич заметил, как испуганно напряглось ее лицо, и, успокаивая, рассмеялся:

– Он так быстро улепетывал, что я ничего не рассмотрел. Да ты не волнуйся, Катюша, ничего же страшного...

– Я знаю этот кинжал, – перебила она. – Мой отец подарил его Анри, когда тот отправлялся в Алжир.

Глава 10

1

По служебному коридору министерства иностранных дел мимо снующих с деловыми бумагами чиновников шел молодой высокий человек в черном пальто «редингот» и отороченной мехом сурка шапке, из-под которой выбивались длинные темно-русые кудри. Остановив одного чиновника, он спросил по-русски, но с довольно заметным акцентом:

– Извините, сударь, где я могу найти директора Азиатского департамента господина Сенявина?

– Вы приезжий? Из Европы? – расплылся в представительской улыбке чиновник.

– Почему вы так решили? Может быть, я с Востока.

– Это вряд ли. – Чиновник явно наслаждался нечаянной возможностью показать свое превосходство хотя бы и незнакомому посетителю. – Загар у вас, да, восточный, хотя, может быть, и африканский, а вот черты лица...

– Все же где мне найти господина Сенявина? – Анри Дюбуа, а это был именно он, бесцеремонно прервал аналитический изыск чинуши. – Или следует обратиться к кому-либо другому?

– Нет-нет, что вы! – испугался чиновник. – Пойдемте, я вас провожу...

Не затевая больше разговоров на вольную тему, он привел посетителя к большим двустворчатым дверям с медной табличкой, из текста которой явствовало, что здесь находится приемная директора Азиатского департамента. Приоткрыв правую створку, сделал приглашающий жест и поспешно ретировался. Боится, что нажалуюсь, усмехнулся про себя Анри и широко распахнул дверь с видом человека, которому все дозволено.

2

В небольшой приемной стоял двухтумбовый стол, заваленный папками с бумагами, из-за которых выглядывала голова с зачесанными на виски волосами; две двери, справа и слева, вели в кабинеты директора департамента и, наверное, его заместителя; вдоль стен выстроились для посетителей жесткие стулья с низкими спинками.

– Сенявин у себя? – спросил Анри у головы, которая тут же устремилась ввысь, словно вытаскивая из-за бумаг шуплую фигурку в мундире, скорее всего, секретаря.

– Д-да, – запинаясь, видимо, от смущения неожиданно начальническим тоном вошедшего, произнесла фигурка. – Как прикажете о вас доложить?

– Не трудись, братец, я сам доложусь. – И Анри решительно шагнул в правую дверь.

За ней оказался обширный кабинет. Три широких окна с левой стороны, прикрытые французскими маркизами, освещали орнаментированный в восточном духе паркетный пол. За большим столом сидел человек средних лет в темно-зеленом николаевском мундире и что-то писал. Он не проявил никакого интереса к вошедшему.

Анри громко кашлянул, привлекая его внимание.

– Почему без доклада? – спросил Сенявин, по-прежнему не глядя на визитера, и аккуратно промокнул написанное большим пресс-папье с фигуркой верблюда вместо ручки.

– Я к вам от виконта де Лавалье, господин директор, – негромко сказал посетитель. – Меня зовут Андре Легран. – На это имя были выписаны новые документы Анри, в которых он значился представителем компании «Парижский парфюмер» в России.

Имя Лавалье заставило хозяина кабинета встрепенуться. Сенявин быстро встал, расправил широкие плечи и направился к молодому человеку, раскрывая руки как бы для объятия. Анри совсем не нравилась уже подмеченная им странная русская привычка – обниматься с малознакомыми и даже совсем незнакомыми людьми, но ради дела можно было и потерпеть.

Однако Сенявин не собирался обниматься. Он слегка похлопал Анри по плечам:

– Рад, очень рад, *mon cher ami*¹⁶! – и любезно поинтересовался: – У вас, конечно, есть рекомендации от виконта?

Голос Сенявина, широкий рокочущий баритон, очень шел его крепкой гвардейской фигуре и вызывал невольное расположение к его владельцу. Однако Анри не поддался напористому обаянию директора департамента. Он молча подал Сенявину небольшой платок белого батиста и без приглашения уселся в кресло у стола, закинув ногу на ногу и водрузив на колено свою шапку.

Сенявин прошел к застекленному шкафу, достал флакон с притертой пробкой, полный золотистой жидкости, и смочил платок. На потемневшем батисте проступили красные буквы. Сенявин бросил быстрый взгляд на Анри и погрузился в чтение.

Анри ждал, осматривая кабинет. В отличие от приемной кабинет ему понравился: ничего лишнего, все для дела. На полированной столешнице письменный прибор из недорогого нефрита, стилизованный под Восток, кожаная папка для бумаг, с правой стороны стопка чистых листов. Стены обшиты панелями светлого дерева, у одной, напротив окон, три застекленных шкафа с книгами. За спиной хозяина кабинета большой портрет императора в полный рост в парадном мундире. Николай с него внимательно вглядывается в каждого входящего в кабинет. Лучше бы хорошенько рассмотрел сидящего перед тобой, подумал Анри. Ему всегда были отвратительны продажные люди, а теперь приходилось постоянно иметь с ними дело. Что ж, согласился работать – терпи, если хочешь увидеть Катрин.

Сенявин вернулся на свое место по другую сторону стола и в задумчивости постукал пальцами по полированной поверхности.

– Что вас интересует?

– Генерал-губернатор Сибири Муравьев, – сухо сказал Анри.

– Восточной Сибири, – уточнил Сенявин. – В России есть еще Западная Сибирь, которой управляет генерал-губернатор князь Горчаков. – Он перестал стучать, поставил локоть на стол и подпер кулаком подбородок. – Ну что вам сказать про Муравьева? Честолюбив, смел и весьма умен. Предан государю и Отечеству. Неподкупен. Строг и порою жесток с подчиненными офицерами и расположен к нижним чинам, для них он отец-командир. Вспыльчив до затмения разума, но быстро отходчив.

– Вижу, вы к нему расположены?

– Нет. Просто должен сказать правду.

– Его семья, окружение?

– Супруга – ваша соотечественница, урожденная Катрин де Ришмон. – Пристально глядя на визитера, Сенявин заметил, как при этих словах потемнело лицо гостя. Эге, подумал он, тут дело явно нечисто, к политике примешались личные отношения. Но продолжил столь же бесстрастно: – Приняла православное крещение под именем Екатерины Николаевны. Обвенчана с Муравьевым ровно год тому назад, в бытность его тульским губернатором. Детей нет. Два младших брата, Вениамин и Александр, и три сестры – Екатерина, Александра и Вера. К сибирским делам никто из них отношения не имеет. Есть наперсник, постоянный адъютант и порученец, офицер из нижних чинов Иван Вагранов. Вместе с генералом в Сибирь отправляются штабс-капитан Василий Муравьев, троюродный брат генерал-губернатора, и поручик Михаил

¹⁶ Мой дорогой друг (фр.).

Корсаков, также брат, но двоюродный. Первый в качестве адъютанта, второй как чиновник особых поручений.

– Вы хорошо осведомлены...

– Это моя работа. К тому же, Муравьев – наша головная боль.

– Разве нельзя было не допустить его назначения? – Тон вопроса был резким, но Анри обострил его сознательно.

Сенявин взглянул на него с удивлением и ответил без особой охоты:

– *Regis voluntas – suprema lex*¹⁷. – Нессельроде, прямой начальник Сенявина, любил латынь, и высшие чиновники министерства старательно ее учили. Сенявин не озаботился, понял ли его гость, и переводить не стал. – Полная неожиданность для всех. У Муравьева очень высокие покровители, даже канцлер не смог воспрепятствовать.

– Каковы сегодня планы России в отношении Амура и Китая?

– Ясности пока нет. – Голос Сенявина заметно напрягся. – Возвращение Амура чревато международными осложнениями. Канцлер решительно не желает с ними сталкиваться. Но император, похоже, имеет свои виды, и что-то будет меняться. Муравьев назначен не случайно.

– Где он сейчас?

– На пути в Сибирь.

– Один или... – голос Дюбуа дрогнул, – вместе с женой?

– Вместе. – Сенявин усмехнулся глазами, по-прежнему совершенно не заботясь, как француз воспринимает его слова.

Анри неожиданно смутился, даже слегка покраснел.

– Хорошо, – сказал он, отвернувшись. – Мне нужен документ для быстрого и свободного передвижения по России и Сибири. Подчеркиваю: свободного. Чтобы лететь, как стремительная тройка, а не бежать на месте, подобно белке в колесе. К этому документу добавьте паспорт на имя Андрея Ивановича Любавина. И весьма желательны рекомендательные письма в губернские города по пути следования.

– Простите, месье Легран, стоит ли называться Любавиным? Вашего умения говорить явно недостаточно, чтобы представляться русским. Вас моментально разоблачат, и будет куча неприятностей. Не столько для вас, сколько для тех, кто выдаст документы. Вы с какой легендой прибыли в Россию?

– Негоциант. Агент по торговле парфюмом и косметикой.

– Вот и оставайтесь агентом по торговле. Договаривайтесь о долгосрочных поставках этих нежных товаров. Вас везде примут с распростертыми объятиями. Женщины и в Сибири остаются женщинами, а парфюмы нужны и мужчинам. У вас будет подорожная «аллюр два креста», и езжайте себе на здоровье под своим именем. Бумага есть – никто и слова не скажет.

Анри немного подумал.

– Пожалуй, вы правы. Я не учел русское... – он поискал подходящее слово, захотелось порезче, – преклонение, да, именно преклонение перед иностранцами. Я же видел его на границе...

– К сожалению, вы правы... Но, согласитесь, это естественно. Россия хоть и великая, однако весьма отсталая страна. Перед Европой преклоняется, а учиться у нее не желает – ни экономике, ни военному делу, ни послушанию закону. Кнут и пряник – главные инструменты развития, а с ними далеко не уедешь. Отсюда – вывод... – Сенявин развел руками, считая, что и договаривать не стоит.

– Так вот почему вы работаете против своей страны, – не удержался Анри от сарказма. – Кстати, – он подал Сенявину карточку, – это вам информация от банка Ротшильда. Пополнение вашего счета.

¹⁷ Воля монарха – высший закон (лат.).

– Благодарю. – Сенявин равнодушно взглянул на карточку, порвал ее на мелкие клочки и высыпал в корзину для бумаг. – Но вы, месье Легран, напрасно считаете, что если мне платят, то я продаю свою родину. Разумеется, деньги никогда не бывают лишними, и вы можете думать, что вам заблагорассудится, однако я убежден: мои действия, как и действия моего учителя графа Нессельроде, направлены на благо России.

От неподдельного удивления брови Анри невольно прыгнули вверх. Сенявин усмехнулся:

– Не понимаете? Вы не знаете истории российской, иначе бы не удивлялись. Русские никогда не занимались глубоким освоением того, что у них в руках: проще собрать то, что ближе лежит, и перейти на новое место, благо территории столько нахватили, что глазом не окинуть, ногами не измерить. А то, что легко достается, к труду не приучает. И у русских это, увы, уже в крови. Измениться их заставит только осознание того, что манна небесная кончилась, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Михайло Ломоносов, был у нас такой ученый сто лет назад, ошибся, сказав, что могущество России будет прирастать Сибирью. Он сам был великий работник и мерил по себе, а таковых на Руси единицы, остальные же тупы и ленивы. Поэтому Сибирью прирастает не могущество, а слабость России. Нам ни Америка не нужна, ни Амур, ибо мы их никогда не освоим. А быть собакой на сене – неумно. Европа никаких природных богатств не имеет, а процветает только лишь за счет труда своего, также и России следует быть... – Сенявин запнулся, поглядев на равнодушное лицо гостя. – Впрочем, что это я перед вами распинаясь? Честь имею!

Он встал, давая понять, что аудиенция окончена. Анри тоже поднялся.

– Позвольте узнать, когда будут готовы документы?

– Загляните через неделю.

У дверей Анри оглянулся:

– Раз уж случился у нас такой разговор, что начали с латыни, латынью и закончим. *Video meliore proboque, deteriora sequor*¹⁸. Это ваш принцип?

И вышел, не ожидая ответа.

– *In cauda venenum*¹⁹, – проворчал Сенявин. – Тоже мне, моралист выискался!

¹⁸ Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему (лат.).

¹⁹ Яд в хвосте (лат.).

Глава 11

1

По пустынной зимней дороге мчался санный поезд Муравьева: тройка несла кибитку, за ней три пароконных возка. В кибитке ехали генерал с женой, в возках парами офицеры, Василий Муравьев и Корсаков, и слуги – Флегонт и Лиза. Впереди и сзади, как полагается генерал-губернатору, по два вооруженных всадника. Третий возок предназначался им для поочередного отдыха – хоть это и не было принято, но так решил Муравьев.

Муравьевы третий день были в пути и все это время почти не разговаривали, думали каждый о своем. Так, Катрин считала, что муж размышляет о случае с кинжалом и страшно ревнует ее к Анри Дюбуа, поскольку сама то и дело возвращалась к воспоминаниям о своей первой любви.

Когда она увидела отцовский кинжал на гостиничном столе и услышала объяснение, ее сердце чуть не остановилось от ужаса. Сначала из-за мужа: представила, что могло произойти, и, конечно, перепугалась. Но, слава Богу, с ним все оказалось в порядке, он даже смеялся, и она на мгновение успокоилась, но тут же окатила новая волна страха: откуда взялся кинжал Анри?! Да, кузен убит, она в этом нисколько не сомневалась, но каким образом кинжал оказался в Петербурге?

– Ты уверена, что это кинжал твоего отца? – спросил тогда Николя.

– Уверена. Отец был капитаном, когда получил его за храбрость из рук самого Наполеона. Это случилось после сражения под Мало... Такое трудное русское название... – пожаловалась она и снова попыталась произнести: – Мало... Малояро...

– Малоярославцем? – догадался муж.

– Да-да... А когда Анри... – Катрин запнулась, потому что при одном лишь упоминании этого имени у нее внутри что-то обрывалось и падало глубоко-глубоко в жидкий холод, – когда Анри отправлялся в Алжир, отец подарил кинжал ему – на счастье. И Анри нашел мастера и выгравировал на рукоятке: с одной стороны «LÉ», что означает «Légion étrange» – «Иностран- ный легион», а с другой – «HdB», свои инициалы²⁰. Он всегда писал свою фамилию по-старому – дю Буа.

– Но ведь в газете было написано, что лейтенант Дюбуа убит! – воскликнул муж.

– Да, было, наверное, так и есть... Значит, после его смерти кинжал попал в чужие руки. – Катрин печально опустила голову, но внезапно ее осенило: – Слушай, Николя, а вдруг тот, кто напал на тебя, и есть убийца Анри?

Муж покачал головой:

– Сомнительно, хотя не исключено. Но зачем ему понадобился я?

– А может, его просто наняли, – сказала Катрин и сама испугалась своих слов. Но пере- силала себя и закончила: – Кто-то на тебя охотится, Николя! – Она судорожно обхватила его всклокоченную голову. – Я не хочу еще и тебя потерять!

Муравьев отстранился, посмотрел в ее полные слез глаза и сказал как можно убедитель- ней:

– Кто бы на меня ни охотился, у него руки короткие. Меня, как Анри, ты не потеряешь.

Теперь же, в пути, Катрин думала о погибшем с тихим душевным трепетом, понимая, что продолжает его любить – как далекое сладостное воспоминание, как первого в жизни муж-

²⁰ Имя Непгі по-французски читается как Анри.

чину, который хоть и не стал ее мужем, но подарил ей высочайшее наслаждение – наслаждение открытым всем радостям безоглядным чувством...

А Муравьев был весь поглощен мыслями о жестокой обиде, которую невольно нанес перед отъездом своей любимой Катрин.

Это случилось неожиданно для него самого. Как-то утром, спеша в министерство, он зашел в спальню, где Катрин еще нежилась в постели, поцеловал ее в розовую со сна щечку и, любуясь прекрасным лицом в обрамлении темнокаштановых волос, сказал:

– Ты знаешь, Катенька, здесь, в Петербурге, все с ума сходят от придворного художника Гау. Рисует, говорят, замечательно. Давай закажем ему твой портрет? В Сибири мне придется часто отлучаться, и я хочу, чтобы ты всегда – пусть и в виде портрета – была со мной. Ты не против?

Катрин даже захлопала в ладоши:

– Николя, милый, это просто замечательно! С удовольствием попозирую, а заодно, может быть, услышу что-нибудь интересное про светскую жизнь Петербурга. Не знаю, как русские, а французские художники очень любят посплетничать про своих моделей.

– Что-то я не замечал за тобой любви к светским сплетням, – улыбнулся Муравьев.

– Николя-а, я ведь все-таки женщина. И ты меня еще совсем не знаешь. – Катрин лукаво взглянула на мужа и звонко рассмеялась.

2

Художник был молод, по отцу типичной немецкой внешности – белокур и голубоглаз, но по-русски улыбочиво-приветлив и гостеприимен. Муравьев застал его в ателье. Слуга доложил о визитере, и Николай Николаевич, услышав «Да-да, проси!», тут же вошел в мастерскую. Гау в коричневой просторной блузе, белой рубаше с воротником апаш и небрежно повязанном черном шелковом галстуке трудился над закрепленным на мольберте акварельным портретом седовласого краснолицего господина в сюртуке. При появлении гостя он бросил кисть в стеклянный кувшин с водой, вытер руки белой тряпицей, сунув ее после этого в карман блузы, шагнул навстречу и слегка поклонился.

– Рад лично познакомиться, господин генерал-губернатор. Польшен. Николай Николаевич, если не ошибаюсь?

Муравьев протянул руку:

– Не ошибаетесь. А вас, если не ошибаюсь, Владимир Иванович?

Оба засмеялись и пожали руки.

– Разрешите взглянуть? – кивнул Муравьев на портрет.

– Окажите любезность... Что прикажете – кофе, чаю?

– О нет, я буквально на пару минут, спешу в министерство.

Муравьев подошел к мольберту. С листа плотной бумаги на него смотрели чуть прищуренные глаза пожилого жизнелюбивого человека. Совершенно живые, подумал он, и все лицо – живое, дышащее... Мастер, великолепный мастер!

Гау подошел и встал за плечом.

– Нравится? – спросил он вроде бы даже задиристым тоном. По крайней мере, так показалось Муравьеву: мол, попробуй не похвали.

Муравьев кивнул.

– Кто это?

– О, это замечательная личность! Профессор Академии художеств Александр Иванович Зауервейд. Был моим учителем, правда недолго, но именно он рекомендовал отправить меня учиться в Италию и Германию. А теперь вот по его портрету коллегия будет оценивать, достоин ли ваш покорный слуга быть членом Академии. Нет, я совсем не против запечатлеть своего

наставника, но как будто не было у меня десятков других портретов – членов императорской фамилии во главе с государем и государыней, их детьми, чуть ли не всего высшего света, генералов, первых красавиц столицы... Я работаю, как проклятый, от заказов нет отбою, и мне еще надо доказывать свое право быть академиком акварельной живописи, Donnerwetter²¹! Простите, генерал, не сдержался...

– А я ведь тоже с заказом, – сказал Муравьев.

– Я это понял сразу. Только, милый вы мой человек, у меня очередь. Запись на март!

– Вот как! – огорчился Николай Николаевич. – Хотел супругу порадовать перед отъездом. Я собирался заказать ее портрет, – пояснил он. – Великая княгиня Елена Павловна посоветовала...

– Ах, Елена Павловна! – Художник словно засветился изнутри. – Восхитительная женщина! Красавица, умница! Она мне чуть ли не крестная мать.

Муравьев удивленно поднял брови.

– Понимаете, – заспешил Владимир Иванович, – в шестнадцать лет я нарисовал портрет мореплавателя Литке...

– Федора Петровича?

– Да-да, именно его. Портрет ему так понравился, что он рекомендовал меня его императорскому величеству как хорошего портретиста. Но для начала мне заказали портреты дочерей Елены Павловны. Вот с них-то я и стал известен. Так что мои крестные родители в искусстве – Федор Петрович и Елена Павловна.

– Такими крестными грех не гордиться, – искренне сказал Николай Николаевич. – Жаль, очень жаль, что с моим заказом не получается...

– Подождите минуточку. – Гау достал с полки толстую тетрадь, скорее даже журнал, и торопливо полистал. – Вот, нашел! Оставлял себе два дня для отдыха, но не оправдать рекомендацию Елены Павловны не могу. Послезавтра в одиннадцать часов утра милости прошу вашу супругу на сеанс позирования. Вас это устраивает?

– Более чем! – воскликнул Николай Николаевич. – Примите мою искреннюю благодарность! И, простите мою меркантильность, дорогой Владимир Иванович, какова будет цена вашей работы?

– По результату, Николай Николаевич, по результату. Сейчас ничего сказать не могу.

Муравьев откланялся, весьма довольный согласием художника, хотя вопрос о цене немного тревожил: свободных денег у него было не столь уж много. А через день ровно к одиннадцати часам привез и представил Екатерину Николаевну знаменитому придворному художнику.

3

Катрин позировала с удовольствием. Для портрета она выбрала платье темно-вишневого бархата, простого, но изящного покроя, с воротничком из брабантского кружева. Круглые пуговицы из темно-красного граната в серебряной оправе редкой цепочкой сбегали от воротника через высокую грудь к тонкой талии и ниже. Платье очень шло к ее каштановым волосам, уложенным в гладкую, с пробором посередине прическу, собранным на затылке в небольшой узел, укрытый также брабантским кружевом. Гармонию цвета завершали золотые серьги с большими опаловыми кабошонами. Аккуратный чуть вздернутый носик, небольшой чувственный рот, разлетающиеся, словно крылья птицы, темные брови над распахнутыми, широко расставленными темно-серыми глазами и нежный овал лица Екатерины Николаевны – все было насыщено природным очарованием, что привело художника в неописуемый восторг. Он бес-

²¹ Черт побери! (нем.)

церемонно выпроводил мужа из мастерской, благо тот не сопротивлялся, поскольку спешил в Главный морской штаб, и, оставшись наедине с гостьей, весь отдался обустройству наилучшего освещения и выбору позы модели. Он так и этак усаживал Екатерину Николаевну перед большим окном, подсвечивал ее зеркалами и белыми полотняными и шелковыми экранами и непрерывно ворковал... ворковал...

– Мадам, я рисовал всех красавиц Петербурга, и это были замечательные работы! Но ваш портрет, я уверен, будет *le meilleur*²²! *Ich übertreffe*²³ самого себя, а это почти невозможно. Но... я говорю «почти» – значит, превзойду! Я вложу в него весь жар своего сердца, и он будет согревать вас в сибирской глуши. Вы – героическая женщина, мадам! Такая юная, изумительно прекрасная, вся столица могла бы лежать у ваших ног, а вы свою неповторимую красоту и молодость добровольно бросаете в каторжную Сибирь! Мало было России жен декабристов!

– Жен декабристов? – переспросила Екатерина Николаевна. – Кто такие декабристы? Что-то я слышала или читала...

– Да, вы же родились и выросли во Франции, там хватает своих мятежей и революций, что вам какой-то русский путч. Я, правда, тоже появился на свет в Эстляндии, в Ревеле, но Ревель – это Россия, и мы знали про мятеж в декабре 1825 года против императора Николая. Пятерых главарей мятежа казнили, а многих отправили на каторгу в Сибирь. Среди них есть даже князья. И несколько их жен поехали за ними и остались там, «во глубине сибирских руд», как написал великий поэт Пушкин...

Владимир Иванович говорил, одновременно бегло набрасывая карандашом на бумаге контур фигуры молодой женщины. Екатерина Николаевна краем глаза следила за ним и поражалась быстроте движений его руки.

– И что же с ними случилось? – вставила она, когда художник на несколько секунд замолчал, пытливо глядя в ее лицо. Он мгновенно словно оторвался от действительности, погрузившись в себя, в лабиринт своих исканий, и на вопрос Екатерины Николаевны откликнулся рассеянно:

– *Was? Etwas fragten Sie?*²⁴ – и тут же спохватился: – О, простите, мадам, увлекся...

– Я спросила: что случилось с женами декабристов?

– Одни не выдержали тягот и умерли, а другие живут и даже рожают детей. *Der Mensch anpasst sich!* Человек приспосабливается!

Екатерина Николаевна вздохнула:

– Мне их жаль!

– У вас еще будет возможность пожалеть их там, в Сибири. – Гау тоже вздохнул. – И, в отличие от нас, кто тоже о них жалеет, но только лишь на словах, вы можете чем-то им помочь на деле. Даст Бог, император смиростивится и вернет их в лоно культуры, но пока что всеми средствами должно облегчить им жалкое существование. Они давно уже поняли всю бессмысленную пагубность своей затеи и давно искупили вину.

– Вы так думаете? – усомнилась Екатерина Николаевна.

– Мадам! Двадцать два года каторги убедят кого угодно и в чем угодно. Это же образованнейшие люди! Цвет русской нации!

– Пожалуй, вы меня тоже убедили. Я постараюсь для них что-нибудь сделать. Если это будет в моих силах.

– Это в силах генерал-губернатора! Он там высшая власть, разумеется, после императора, – горячо сказал Владимир Иванович и вдруг лукаво улыбнулся: – Но его власть, без сомнения, подчинена власти вашей красоты, вашего очарования.

²² Превосходный (фр.).

²³ Я превзойду (нем.).

²⁴ Что? Вы что-то спрашивали? (нем.)

Екатерина Николаевна польщенно засмеялась:

– Не стану спорить, но этой властью злоупотреблять нельзя.

– Помилуй бог, разве творить добро – значит злоупотреблять?

В дверь из-за портьеры заглянул слуга:

– Владимир Иванович, к вам давешний господин Муравьев.

Не дав художнику времени на ответ, в мастерскую быстрым шагом вошел Николай Николаевич, даже не снявший шинель:

– Простите, что прерываю сеанс...

– А мы на сегодня уже закончили. – Гау быстро развернул мольберт, не давая приглядеться к рисунку: видимо, не любил показывать незаконченные работы. – Продолжим завтра в то же время.

– Отлично! – сказал Муравьев. – Катенька, приехал из Риги Евгений Александрович, и мы сегодня обедаем у Головиных.

Уже усевшись в санки и пряча ноги в сапожках под медвежью полсть, Екатерина Николаевна неожиданно спросила мужа:

– Николя, как ты относишься к декабристам?

– К декабристам?! – Николай Николаевич так и застыл с поднятой ногой: вопрос застал его врасплох, он даже не успел сесть в санки. Однако сразу вслед за тем занял свое место рядом с женой, тщательно укрылся полстью, тронул за локоть извозчика: «Давай, братец, на Васильевский» – и только после этого повернулся к Екатерине Николаевне. – Декабристы, моя милая, преступники, и я к ним отношусь, как законопослушный гражданин должен относиться к преступившим закон. Хотя среди них было много моих родственников, и кто-то успел умереть в сибирской каторге и ссылке, а кто-то был прощен и продолжил службу государю и Отечеству. Как, например, Михаил Николаевич, в гостях у которого мы с тобой обвенчались. А почему ты спросила?

– Я подумала: мы едем в Сибирь и можем там с ними повстречаться...

– Ну, вот повстречаемся, тогда и решим, как к ним относиться.

– А как решилось с Невельским?

Муравьев удивился не меньше, чем вопросу о декабристах:

– Ты начала интересоваться моими делами?

– А что ты удивляешься? Помнишь, Елена Павловна сказала, что от меня будет многое зависеть?

– Помню. – Муравьев внимательно взглянул в ее глаза и, отогнув край перчатки, поцеловал руку жены. – С Невельским все в порядке. Он назначен командиром транспорта «Байкал», сейчас занимается его достройкой в Гельсингфорсе и ближе к осени отправится в Камчатку. А тебе нравится позировать художнику?

– Да, очень... Владимир Иванович сказал, что мой портрет будет лучшей его работой.

4

Через неделю портрет был закончен, но это не принесло Муравьеву радости. Накануне он узнал цену, и она его ошеломила, поскольку таких денег в наличии уже не было: запасов у него никогда не водилось, а так называемые подъемные, выданные министерством, разбежались по житейским мелочам. Самой дорогой покупкой стали две связки книг о Сибири, отобранные Муравьевым в книжной лавке. Они-то и явились тем перерасходом, который не позволял теперь выкупить у художника готовый портрет. Занимать в долг Муравьев не любил, да и не было у него в Петербурге доверенных кредиторов. Поэтому, ничего не сказав Екатерине Николаевне, он отправился к художнику, чтобы уговорить его убрать портрет в запасник до первого же своего приезда из Сибири.

В мастерской Гау он встретил человека, которого менее всего желал видеть – генерал-майора князя Александра Барятинского, личного друга цесаревича Александра Николаевича и своего давнего неприятеля. История их отношений, яростно-враждебных со стороны Барятинского и стойко-неприязненных со стороны Муравьева, началась во время подавления Польского восстания, летом 1831 года, в местечке Бялы.

Поручик Муравьев тогда только что выполнил сложнейшее задание командира 26-й дивизии генерал-лейтенанта Головина, адъютантом которого служил с середины мая. Дивизия, имевшая пять с половиной тысяч человек пехоты, тысячу триста – кавалерии и четырнадцать орудий, противостояла втрое превосходящим силам мятежного генерала Хржановского, но Головин, умело маневрируя между местечками Мендзыжец, Седльце и Минск, прикрывая фронт более чем на сто верст, создал у поляков впечатление о гораздо большем количестве русских войск, нежели это было на самом деле. Своими действиями он оттянул значительные польские силы от Варшавы, что позволило русской армии под командованием графа Паскевича-Эриваньского форсировать Вислу у городка Осека, севернее столицы Царства Польского. Но Головину хотелось большего, и он задумал дерзость.

Муравьев по вызову командира явился немедленно.

– Николаша, голубчик, – сказал Евгений Александрович, – ты уже ходил с казаками в глубокую разведку. – Командир дивизии имел в виду рейд отряда казаков под началом поручика к пригороду Варшавы местечку Праге. Результаты разведки как раз и подвигнули Головина на столь удачные маневры. – Теперь же я поручаю тебе одному добраться до генерала Хржановского и передать ему письма пленных польских офицеров. Эти господа призывают мятежников сложить оружие перед неодолимой русской силой, дабы избежать ненужного кровопролития. Я, конечно, не питаю наивных надежд, что письма немедленно возымеют действие – поляки жутко упрямый народ, – но, если их упрямство поколеблется хоть на грань, твой подвиг не будет бесполезным. Скажи, мой дорогой, и будь осторожен. Бог тебе в помощь!

Муравьев не только добрался до Хржановского и передал письма, но и собрал важные сведения о расположении и количестве неприятельских войск, за что генерал-лейтенант выразил поручику отдельную благодарность.

Отправленный на отдых, он шел на свою квартиру, как вдруг, завернув за угол, стал свидетелем безобразной сцены.

Перед молоденьким прапорщиком, можно сказать мальчишкой в шинели, нервно двигающимся взад-вперед, стоял во фрунт высокий, широкоплечий солдат лет двадцати трех. В левой руке солдат держал ружье с примкнутым штыком, в правой, как разглядел Муравьев, флягу зеленого стекла в виде обнаженной девушки.

– Добром, значит, не отдашь? – спрашивал прапорщик звенящим срывающимся голосом.

– Никак нет, ваше благородие, – отвечал, похоже, не в первый раз солдат. – Мелкий трофей солдат имеет право взять себе.

– Права свои знаешь, а офицера уважить не желаешь?

Солдат переминался с ноги на ногу и промолчал.

– Отвечай, когда тебя спрашивают! – почти фальцетом крикнул прапорщик.

– Солдат боевого офицера всегда уважит...

– А я, по-твоему, не боевой?

– Никак нет, ваше благородие. – В глазах солдата огоньком блеснуло озорство. – Вы только утром прибыли, и уже вам трофеем подавай...

Прапорщик схватил солдата за ворот шинели, потянул с такой силой, что тому пришлось наклониться:

– Я тебя, сволочь, под шпицрутены подведу!

Солдат резко выпрямился, и прапорщику пришлось отпустить воротник.

– Ах так? Ты – так?! Ну, погоди! Смир-рно! Лечь!

Солдат не успел выполнить приказ, как прозвучал резкий голос Муравьева:

– Отставить!

Прапорщик оглянулся. Он до того увлекся выяснением отношений с солдатом, что не заметил подошедшего поручика. А услышав приказ старшего по званию, покраснел, как нашкодивший школяр.

– Что вам угодно, поручик? Я воспитываю рядового...

– Вас самого надо воспитывать, прапорщик. – Голос Муравьева дрожал от бешенства. Издеваться над тем, кто не может тебе ответить, – эту черту человеческого эгоизма он ненавидел с детства: папенька Николай Назарьевич считал своим долгом воспитывать детей по такой методе. – Стыдитесь, юноша!

– Да кто вы такой, чтобы читать нравоучения князю Бярятинскому? Я, между прочим, Рюрикович в двадцатом поколении!

– Девятнадцать предыдущих поколений сейчас краснеют за вас. Честь имею: адъютант генерал-лейтенанта Головина поручик Муравьев.

– Надеюсь, ваша должность, сударь, позволит вам дать мне сатисфакцию?

– Вы считаете себя вправе требовать удовлетворения? На каком основании?

– Вы меня оскорбили, причем в присутствии нижнего чина.

– Я остановил ваши действия как старший по званию и воззвал к вашей чести.

– Моя честь и требует удовлетворения. А вы, похоже, боитесь...

Муравьев покраснел от негодования:

– Извольте, князь. В шесть утра, за костелом. Шпаги? Пистолеты?

– Предпочитаю пистолеты. И поскольку дуэли запрещены, не будем вовлекать в наш спор других. Обойдемся без секундантов.

– Согласен.

Отказываясь, они разошлись, забыв про солдата, который так и остался стоять с ружьем в одной руке и с флягой в другой.

Но дуэль не состоялась. На Бярятинского пришел вызов из штаба корпуса, и он вынужден был уехать вечером того же дня, а далее отправлен в Петербург, как говорили, по личной просьбе отца молодого князя, боявшегося потерять любимого сына, которому он мечтал передать свое пристрастие к сельской жизни. Так и не довелось молодому герою показаться в Польской кампании.

Однако в имение отца в Курской губернии он не вернулся: записался в кавалергарды и вел в Петербурге столь буйную жизнь, насыщенную кутежами с артистками, дуэлями, что о его похождениях кто только не сплетничал. Но когда император выразил по этому поводу неудовольствие, молодой князь попросился на Кавказ, где отличился в боях с горцами, был тяжело ранен, получил золотую саблю с надписью «За храбрость» и на десять лет стал наперсником цесаревича Александра. В 1845 году, когда Муравьев уже перешел в ведение министерства внутренних дел, Бярятинский вернулся на Кавказ, снова успешно воевал и через два года получил чин генерал-майора, то есть «догнал» Николая Николаевича.

5

И вот этот крайне неприятный для него человек оказался в том месте и в то время, когда свидетели Муравьеву были менее всего желательны. За 16 лет, прошедших с их стычки в Польше, князь, что называется, заматерел, вытянулся вверх и раздался в плечах, отпустил усы и бакенбарды. Генеральский мундир из дорогой английской шерсти, украшенный орденами, сидел на нем ладно, точно по фигуре – видно было, что пошит он руками искусного мастера. Бярятинский стоял у окна, разложив на столе большие листы с акварелями, – Муравьев мельком заметил пейзажи и чьи-то женские портреты, – и перебирал их, как бы сравнивая между

собой. При появлении Муравьева он повернулся к нему, слегка наклонил голову, вроде бы здороваясь, а вроде бы и нет, и снова вернулся к своему занятию.

Художник стоял от князя по правую руку, видимо, давая пояснения к рисункам. Еще войдя лишь в прихожую, Николай Николаевич услышал его громкий голос:

– На Кавказе, в вашей походной жизни, mein Prinz²⁵ Александр Иванович, мирные картины и прелестные женщины лучше всего способствуют отдохновению души...

– Все это немного не то, милейший Владимир Иванович, – пророкотал Барятинский как раз в тот момент, когда в мастерскую вошел Муравьев. Голос князя тоже изменился – загустел и понизился, от мальчишеского тенора не осталось и следа.

– Вы знакомы, господа? – спросил Гау, поздоровавшись с Николаем Николаевичем.

– Да, – ответил Муравьев, а Барятинский просто коротко кивнул.

По просьбе Николая Николаевича Гау, извинившись перед князем, вышел с Муравьевым в другую комнату, отделенную от мастерской, как и прихожая, тяжелой портьерой. Здесь художник отдыхал на оттоманке, пил чай или что-нибудь покрепче: на низком столике у оттоманки стояли бутылка «Курвуазье» и коньячная рюмка. Гау предложил коньяку, но Муравьев отказался.

– Вы не могли бы сделать мне одолжение? – волнуясь от непривычной ситуации, начал Муравьев. Художник наклонил голову, изображая внимание. – Дело в том, что у меня перед отъездом в Сибирь возникли непредвиденные расходы, и я не могу сейчас уплатить названную вами цену за портрет. Я прошу либо рассрочку платежа, либо отложить портрет до моего приезда в Петербург...

– Ни то ни другое меня устроить не может, – неожиданно холодно перебил Гау. – Я нахожусь в стесненных обстоятельствах, поэтому даже продаю на сторону часть своих работ, которые были отложены для выставки ко дню получения звания академика. Уверен, что портрет вашей супруги будет немедленно куплен, вот хотя бы князем, и за гораздо большую сумму, нежели я назвал вам.

– Вы не имеете права продать именной портрет! – почти вскрикнул Муравьев, покрывшись испариной от одной мысли, что прекрасный образ его Катрин попадет в руки этого хлыща Барятинского.

– Нет проблем! Я подпишу, что это – портрет неизвестной. Ваша супруга в высшем свете не появляется, она действительно никому не известна, и от меня ее имени никто не узнает. Это единственное, что я могу вам обещать.

– Но вы же оставляете работы для выставки!

– Как видите, я вынужден их продавать. Прошу меня извинить, генерал, князь ждет. – И художник удалился в мастерскую.

Такого унижения Муравьев не испытывал ни разу в жизни, даже когда весь в долгах сидел в Стоклишках. Ему до боли в висках захотелось напиться, он схватился было за «Курвуазье», но услышал голос Гау:

– Вот, ваша светлость, есть еще портрет неизвестной...

Это было невыносимо, и, грязно выругавшись, Муравьев выбежал через дверь, ведущую прямо в прихожую.

Всю дорогу домой он думал, что и как скажет Катрин о случившемся. Конечно, чтобы не упасть в ее глазах, можно было придумать что-нибудь правдоподобное: например, Гау случайно пролил краску на портрет – а много ли акварели надо, чтобы стать испорченной?! И он бы, наверное, выложил эту маленькую неправду или придумал что-то еще, если бы не вчерашняя внезапная покупка книг, выбившая его из финансового седла. Это было полностью на его

²⁵ Мой князь (нем.).

совести, а Николай Николаевич привык отвечать за свои поступки, не прячась за обстоятельства. Поэтому он рассказал правду.

Катрин ни в чем его не упрекнула, спросила только:

– А какие книги ты купил? – Услышав, что про Сибирь, состроила скептическую гримаску и протянула: – Помню, один блестящий кавалер обещал мне прочитать всех великих русских писателей, но дома у него до сих пор нет ни романов, ни стихов...

Муравьев мгновенно вспомнил их разговор на площади перед собором Парижской Богоматери и залился краской стыда: он, и верно, так и не удосужился прочесть ни Гоголя, ни Марлинского, ни Пушкина, наконец... Притом что Катрин все дни его пребывания в замке де Ришмон старательно, порой до умопомрачения, знакомила его с французскими писателями и поэтами. И, надо сказать, когда, будучи у Елены Павловны, он довольно удачно упомянул Оноре де Бальзака и молодого поэта Теофиля Готье, то сразу почувствовал, как обычно покровительственный тон великой княгини сменился на уважительный. Он понял, каким путем можно выйти из положения «маленького Николаши», чтобы стать «своим» в салоне Елены Павловны, да вот руки не доходят и времени не хватает...

Взгляд, которым Екатерина Николаевна наградила мужа, напомнив тот давний разговор, был весьма красноречив. И хотя он на следующий же день купил почти десяток русских романов и стихотворных сборников, оставшееся до отъезда время она в основном молчала, отгородившись от его ласк невидимой стеной презрительного равнодушия, что было для него самым мучительным наказанием.

И теперь они молчали уже третий день, потому что обмен бытовыми репликами за разговор считать было нельзя, и оба страдали от этого молчания, все более сгущавшегося, оттого что каждый боялся, заговорив невпопад, сделать только хуже. Наверное, если бы нашлась какая-нибудь общая отвлеченная тема – та же погода или природа – для беседы, ее живой огонек растеплил бы льдистый холод тишины, но за мутными стеклами окошек тянулся уныло-однообразный снежно-лесистый пейзаж, изредка прерываемый неровным рядом деревенских изб, заваленных снегом по самые гребни соломенных крыш, да с гиканьем налетали и быстро удалялись встречные тройки. Под потолком кибитки горел масляный фонарь, дававший толику света, при котором, хоть и с трудом, но можно было читать, чем супруги и занимались большую часть пути от станции до станции. Екатерина Николаевна читала, или скорее делала вид, что читает, какой-то французский роман, а Николай Николаевич листал те самые злополучные книги о Сибири, из-за которых он так опозорился перед художником и провинился перед женой. Листал, всматривался в строчки, но ничего не видел, в основном из-за того, что глаза застилала влажная пелена, размывающая буквы и рисунки. Раскис, как барышня, горестно думал Муравьев, отлично сознавая, что любовь к Катрин делает его слабым и безвольным, и он никак не может с собой справиться. Вот ее любовь, страстная и нежная, требующая полной самоотдачи, наполняла его силой и волей, стремлением преодолеть любые преграды, но сейчас он, как ни старался, не улавливал ни единого флюида этой любви. Правда, не ощущал он и неприязни к себе, и это давало надежду, что все не так плохо, как ему кажется. Николай Николаевич достал часы, щелкнул крышкой.

– Двенадцать, – сказал в пространство. – Часа через два будем в Москве. До завтра отдохнем.

Екатерина Николаевна прикрыла книжку, откинулась на спинку сиденья и вздохнула. Тихо и, как показалось Муравьеву, печально, с легким всхлипом. Так вздыхают несправедливо обиженные дети, и этот вздох окончательно добил его. Чувство вины стало просто нестерпимым. Он осторожно взял ее кисть, прикрывавшую переплет книги, – Катрин руки не отняла, что его сразу же вдохновило, – и, перевернув ладонью вверх, низко наклонился и поцеловал. А потом приложился к ней лбом и замер.

Катрин еще раз вздохнула, другой рукой отложила книгу и погладила мужа по вьющимся волосам.

– Прости! – глухо сказал он в ее колени, прикрытые шубкой. – Прости, родная...

– Глупый, за что?

– За портрет...

– Ну что ж, – сказала Катрин над его по-прежнему склоненной головой, и он по интонации понял, что она улыбается. – Ты хотел возить с собой его, а теперь будешь возить меня. Не нарисованную, а живую! – И уже откровенно засмеялась. Свободной рукой она быстро расстегнула шубку и распахнула ее. – Иди ко мне... Скорей!.. Я так по тебе соскучилась!

Оказалось, что любовь в кибитке, в стесненных условиях, может быть не хуже, а много острее и сладостней, чем в домашней постели.

Глава 12

1

Постоялый двор вольготно раскинулся за околицей села Каргаполья, что издавна, чуть ли не сразу после Кучумова царства, легло на берегу Миасса неподалеку от его впадения в Исеть, – это в пятидесяти верстах за уездным городом Шадринском. Обширное пространство вокруг большого двухэтажного гостевого дома, огороженное не жердевыми пряслами, а настоящим крепким забором – от конокрадов и других лихих людишек, – никогда не пустовало, в конюшнях хватало места лошадям, для них в амбаре всегда наготове был овес, сеновал над конюшнями с середины лета забивался духовитым сеном с заливных лугов.

В гостевом доме на втором этаже располагались номера для тех, кто почище да побогаче; для простого люда годилась теплая пристройка к конюшне, разделенная на две половины – мужскую и женскую.

На первом этаже дома был трактир с кухней и буфетом – общая зала на шесть восьми-местных столов с лавками для сидения и четыре кабинета со столиками на четверых и полумягкими стульями. Из залы дверь вела в сквозной – с дверью на улицу – коридор, по обе стороны которого располагались несколько чуланчиков для прислуги, запасная трехместная гостевая и теплая кладовка для сухих припасов. Остальную часть этажа занимали хозяйские комнаты, у них был отдельный выход во двор.

Сибирский тракт огибал село, не заходя на его улицы, и почтовая станция, естественно, находилась тоже при постоялом дворе, занимая скромный флигелек у ворот.

Станционный смотритель Захарий Прокопьевич Афиногенов только отобедал в трактире и теперь, сидя за конторкой, потягивал в свое удовольствие земляничный сбитень из глиняной обливной кружки с горланящим красным петухом на боку. Петух ему очень нравился, и после каждого глотка ароматного и весьма полезного для здоровья напитка он заглядывал в косящий на хозяина круглый хитрый глаз и подмигивал иногда, приговаривая:

– Ну что, брат Петя, все никак не накукарекаешься?

В помещении станции было тихо, только с ямщицкой половины из-за перегородки слышалось похрапывание с присвистом: там дневалил подставной ямщик Прошка, остальные ушли в прогоны – одни на Шадринск, другие на Курган. Захар Прокопьевич блаженствовал, пользуясь не столь частой передышкой, и потихоньку молил Бога продлить подольше райское ничегонеделание. Однако Бог не внял его простенькой мольбе. Издалека прилетел звон бубенцов, а через несколько минут в распахнутые ворота ворвалась тройка – вороной коренник и буланые пристяжные: это вернулся из Шадринска старший ямщик Ерофей, увозивший накануне почту и фельдъегеря из Омска.

Захар Прокопьевич увидел в окно, как Ерофей придержал коней возле крылечка флигеля, из кибитки выпрыгнула фигура в медвежьей шубе и рысьем треухе, а тройка направилась к конюшням – на распряг и отдых.

Хлопнула наружная дверь, в сенцах под тяжестью скрипнули половицы, распахнулась внутренняя, обитая для сохранения тепла толстым войлоком, створа, впуслав понизу облако холодного пара, и перед Захаром Прокопьевичем предстал мужчина – молодой, бритолицый, темно-русый.

– Лошадей! – коротко сказал мужчина и бросил на конторку дорожную сумку.

Захар Прокопьевич отодвинул в сторону кружку с петухом, поднялся, одернув форменный сюртучок и оттого став как будто выше своего неказистого роста, – а как же, человек при исполнении! – и наклонил в знак приветствия голову с седоватым хохолком:

– К вашим услугам, сударь, коллежский регистратор Афиногенов.

Приезжий кивнул и повторил:

– Лошадей!

Станционный смотритель развернул подорожную:

– Андре Легран, негоциант, гражданин Франции...

Прочитал и опустил на старую расшатанную табуретку, уже давно заменившую жесткое кресло, однажды рассыпавшееся на куски, когда пьяный Прошка плюхнул на него все свои семь пудов костей и жилистого мяса.

– Нет лошадей, сударь, и до завтра не будет, – спокойно, врасстяжку произнес Захар Прокопьевич, одновременно пребывая в размышлении, не следует ли доложить об иностранном проезде представителю власти – казачьему уряднику: что, спрашивается, забыл в Сибири французский негоциант, да еще, похоже, знающий русский язык?

– Что значит: нет лошадей? – ворвался в его размышления баритон Леграна. – Меня заверили в Петербурге, что задержек не будет. Вот же знак на подорожной...

– Нет лошадей, сударь, значит одно: лошадей нет. Все в прогонах. Аллюр на бумаге – он для нарочных. Вот ваша тройка к утру отдохнет, и езжайте себе на здоровье. Ежели, конечно, чего непредвиденного не случится, навряд ли войны или смерти генерал-губернатора, не дай, Господи, ни того ни другого. Тогда не обессудьте: заберем и ее.

– Putain²⁶! – сердито сказал француз. – Я хорошо заплачу!

– От ваших денег, сударь, лошади у нас не появятся, – невозмутимо отозвался Захар Прокопьевич, а сам твердо решил известить урядника: «Вот как только вечером Парфен Иванович явится в трактир пропустить стаканчик-другой, перед тем как отправиться на боковую, так и дам знать. Больно уж подозрителен европейский купец: и куда, спрашивается, торопится?» – Ступайте лучше, устраивайтесь на ночлег, да и перекусить с дороги не мешает. А утречком встанете с постельки, кофейку или чаю изопьете, и жисть покажется малиною. И под песню Ерофееву – в путь! Ерофей, ямщик ваш, знатный песельник! Уж как заты-а-а-нет...

Легран, не дослушав, круто развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что подпрыгнула и чуть не упала со стола кружка с петухом. Захар Прокопьевич поймал ее, погрозил петуху пальцем и направился за перегородку, где на припечке стоял медный сбитенник с тлеющими в поддувале углями – чтобы в случае надобности легко можно было их вздуть и приготовить любимое питье. Чай у Захара Прокопьевича имелся, черный китайский, но сам он его не жаловал, а потчевал лишь фельдъегерей на их кратковременном отдыхе, пока меняли лошадей.

Кстати, отказывая французу в лошадях, Захар Прокопьевич слегка лукавил: лошади у него были – подменная тройка и пара верховых, но не давать же их чужестранцу, пусть даже и за деньги: мало ли что у него, ирода, на уме.

2

Номер в гостевом доме оказался очень даже приличным: хорошая кровать, застеленная пуховым одеялом, пуховые же подушки, небольшой стол с трехсвечным канделябром, полумягкий стул, шкаф для одежды, рукомойник и ночной горшок с крышечкой. Анри осмотрелся, остался доволен и дал двугривенный сопроводившей его круглолицей статной девушке, которую хозяин вызвал из подсобки кличем: «Танюха! Проводи гостя!» Девушка была синеглазая и чернобровая, из-под повязанного под круглым, с ямочкой, подбородком платка к румяным щекам льнули пушистые светлые завитки, на спине по белой домотканой рубахе золотистым потоком стекала толстая коса. Наплечные полики рубахи и поясок украшал простенький вышитый узор.

²⁶ Французское ругательство.

Анри поразило невиданное им прежде контрастное сочетание черных стрелчатых бровей и волос цвета залитых солнцем алжирских песков; вместе с белозубой улыбкой, румянцем кожи и синевою глаз оно создавало неопишное очарование, присущее, без сомнения, только этой девушке. Глядя на нее, он на какое-то время забыл Катрин. Ему безумно захотелось провести с этой русской красавицей хотя бы одну ночь, конечно, хорошо заплатив за ее расположение. Лавалье говорил ему, что русские падки на легкие деньги, и он сам успел в этом убедиться не раз, начиная от российской границы, но вот станционный смотритель, ничтожный человек с наверняка мизерным жалованьем, несколько минут назад поставил его на место, даже не пожелав откликнуться на предложение взятки. И это неожиданно поколебало уверенность в собственном превосходстве. Однако он не оставил мысли «а вдруг получится!» и напрямую спросил:

– Мадемуазель не желает заработать много денег?

Он ожидал разных вариантов ответа: в лучшем случае простого согласия или стыдливого жеманства с последующим согласием, в худшем пощечины и жалобы хозяину, но то, что услышал, вызвало у него легкое ошолбление.

Глаза девушки брызнули на Анри насмешливыми голубыми искрами:

– Нешто это работа? Баловство! И деньги ваши мне без надобности – не в городе, поди, живем. Да и дроля есть у меня, узнат – ноги вам переломат али оторвет чё-нибудь...

Засмеялась и пошла к двери. Желая задержать ее еще хоть на минуту, Анри спросил первое, что пришло в голову:

– Танюха – так сказал портье – это что такое?

– Танюха? – Девушка остановилась, оглянулась. – Вы чё, нерусский, чё ли? Кличут меня так – Танька, Танюха... Татьяна я.

– Татьяна... – В дорогу он купил томик русского поэта Пушкина, роман в стихах «Евгений Онегин» – для познания языка и русской жизни. Это ему посоветовал Сенявин при второй встрече, когда передавал проездные документы. «В стихах Александра Сергеевича, – сказал, – вся русская жизнь». Анри последовал совету и не пожалел: легкие, простые, как бы прозрачные стихи вызвали восхищение, он сравнивал их с рассудительной поэзией модного Виктора Гюго, и сравнение было не в пользу соотечественника. – Татьяна, – повторил он, с удовольствием выговаривая звучное русское имя. – Ларина.

– Телегина я, барин, а никакая не Ларина, – обиженно сказала Танюха и вышла. И уже из-за двери, удаляясь, донеслось: – Ларина для барина...

«А для Онегина – Телегина, – вдруг пришла в голову рифма, и Анри впервые за многие месяцы после возвращения из алжирского плена открыто засмеялся, и вместе со смехом в сердце его пришло облегчение, сменив ожесточенную тоску по далекой и пока недостижимой Катрин. А с облегчением возникла уверенность, что все у него получится. Нет, не с Татьяной, а вообще...

3

Анри бегло оглядел трактирную залу – пусто, только за одним столом хлебал щи молодой черноусый мужик в красной косоворотке. Перед ним стоял графинчик с водкой и граненая рюмка. Рядом на лавке лежал овчинный полушубок.

Анри встретился с пристальным взглядом черноусого, сморгнул и отвернулся. Ключом от номера постучал по стойке, вызывая буфетчика. Тот появился из-за цветастой занавески, закрывающей вход в кухню.

– Чего изволите-с?

– Обедать, – коротко сказал Анри.

– Где желаете отобедать: в кабинете или общей зале?

– В кабинете.

– Извольте выбирать, все свободны. Половой примет заказ.

Анри выбрал тот, из которого хорошо был виден стол с обедающим мужиком. Черноусый покончил со щами и принялся за мясо с отварной картошкой и соленым огурцом, предварительно выпив водки. В сторону Анри он больше не смотрел.

Половой принес на подносике рюмку водки – аперитив, с усмешкой подумал Анри – и меню на полный лист бумаги, написанное крупными буквами и озаглавленное «Перемены блюд» по разделам – «На завтрак», «На обед» и «На ужин». В разделе «На обед» числилось как раз то, что ел черноусый, – щи из кислой капусты и свинина тушеная с отварной картошкой. Насчет соленого огурца было сказано – «по желанию клиента».

Щи Анри уже пробовал на одной станции, и они его не прельщали, а мясо с картошкой заказал и огурца соленого также пожелал. И – полный графинчик. Водка ему не нравилась своей жгучей крепостью и сивушным запахом, но он успел оценить ее пользу в условиях русских морозов, когда, проехав по железной дороге от Петербурга до станции Колпино – дальше поезда еще не ходили, – вынужден был пересест в кибитку, в которой было ощутимо холодно.

Расторопный половой – паренек в белой холстинной косоворотке навывпуск, перетянутой вязаным пояском с кисточками, в таких же белых штанах, заправленных в мягкие сапожки, – мигом все принес, расставил и, пожелав «кушайте-с на здоровье!», исчез.

Выпив «аперитив», Анри сразу же налил вторую рюмку, выпил и ее и приступил к трапезе, благо почувствовал, как сильно проголодался.

4

Хлопнула входная дверь, впуская облако холода, а вместе с ним крепкого мужика в распахнутом суконном кафтане, подбитом собачьим мехом, и суконно-меховой шапке-малахае. С ярко-рыжих бороды и усов его свисали сосульки. Мужик ободрал сосульки, гулко откашлялся и сдернул малахай с русокудрой головы.

– Мир и благоденствие дому сему, – сказал басом и, перекрестившись на образа, стоявшие за лампадкой на угловой полочке, поклонился в пояс. – Доброго всем здоровьица!

– И ты будь здоров, добрый человек, – откликнулся буфетчик.

– Мне бы хозяина...

– Хозяин нонче в отъезде, я за него. Кто таков? Чего надобно?

– Шлыки мы, – сказал мужик, разворачивая добытую из-за пазухи тряпицу с документом. – Я, значитца, Степан, и сын мой, Гринька, щас подойдет, во дворе задержался. Мастеровые мы тульские, в Сибирь идем. Нашего губернатора, господина Муравьева, дай ему Бог здоровья, туды отправили, а мы, значитца, за им. Передохнуть вот надобно да поись горяченького.

– Хороший был губернатор? – как бы мимодолом спросил буфетчик, изучая бумаги Шлыка.

– Куда лучше-то! Меня единожды выпорол за пьянку...

Буфетчик ухмыльнулся, достал из-под стойки амбарную книгу для записи постояльцев, чернильницу и гусиное перо и занялся обязательной процедурой регистрации.

Степан ожидал, переминаясь с ноги на ногу, обтирая с бороды и усов остатки быстро стаивающих сосулек.

– Здорово, Степан, – негромко сказал черноусый, вставая из-за стола.

Шлык обернулся, ахнул и расплылся в широчайшей улыбке.

– Вогул! Гришаня! Вот здóрово так здóрово! Отколь ты взялся?

Они обнялись, расцеловались – троекратно, по-русски. Буфетчик, закончив запись, со снисходительной усмешкой любопытничал, как друзья осматривали, хлопывали друг друга, словно стараясь увериться, что ничуть не изменились.

Вогул повернулся к нему:

– Слышь, Ефимко, ты нас вместе посели, всех троих.

– Да уж понял я, понял, – мотнул головой буфетчик. – Есть тут, на первом этаже, номерок – вам будет в самый раз. – И, уже обращаясь к Степану, добавил: – А пачпорт я те утром возверну, перед уходом. Спать будешь вместе с им, – он кивнул на Вогула, – а обед, как заплатишь.

– Заплатим, хозяин, заплатим. – Степан хлопнул Вогула по плечам так, что тот пошатнулся: – Так отколь, друг сердешный, ты тут взялся? Я ж думал, ты давно, значитца, возвернулся...

Вогул поморщился, остановив его жестом, метнул острый взгляд в сторону Анри, подхватил полушубок:

– Пошли-ка во двор. Воздухом подышим, заодно и перетолкуем.

В сенях подзадержались. Вогул тронул друга-приятеля за плечо:

– Такое дело, Степан... Ты это, про меня не болтай никому. Ну, про то, где я бывал. Сибиряки – народ недоверчивый: ненароком что случится, меня враз ухватят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.